
Мария СКРЯГИНА

БУТЫРКА

Повесть

Посвящается Саше (1976–2013) и Тане

Все совпадения случайны

Чай был горячим. Аглая отодвинула пластиковый стаканчик, ждала, пока остынет. Вероника цедила коктейль через трубочку. Не виделись давно, а разговор не клеился. Вдруг приятельница оживилась, вспомнила что-то.

— А ты слышала, Егора посадили?

— Какого Егора? Нашего?

— Ну да, вашего.

— Подожди, за что?

— Что-то политическое. Митинг с плакатами, против власти. Вышли на площадь, их там и сцапали. Вломили, дело шьют.

— Ты ничего не путаешь? Егор? Митинг? Он же работал дизайнером в какой-то модной конторе, преуспевал, купил квартиру.

— Мать, такое ни с чем не спутаешь. Сидит. В этой, как ее, Бутырке.

Еще сегодня днем все было, как обычно: выступила на конференции с докладом, кофе-брейк — кофе как будто из желудей, суховатые булочки, тонкое, ломкое печенье. Поминают то Шеллинга, то Шопенгауэра, а кто-то — Ханну Арендт. Снова в зал заседаний. Яблоко — толком не топят, и она так рада, когда последний выступающий соблюдает регламент. Потом дорога до метро сквозь большой, нескончаемый парк — с философами из Питера и Нижнего, и все разговоры снова упираются в тему конференции: свобода, свобода, свобода.

Уже в вагоне, сквозь громохание состава, ее застал звонок Вероники, бывшей соседки, давным-давно уехавшей за счастьем в Москву и неплохо устроившейся. Нужно было передать ей документы от матери. «Кофе попьем?» На самом деле уже не хочется никакого кофе, бесед, вопросов. Остаться бы одной. Отдохнуть от свистопляски последних дней, судорожных сборов, дороги. Нервного напряжения перед выступлением. Неожиданно свалившейся за долгие годы отсутствия Москвы. Но — документы, она же обещала. Соглашается. Едет. И слышит эту странную новость, будто из дурного сна. И не может сообразить, а как теперь быть?

Мария Александровна Скрягина родилась в городе Омске. Писатель, литературный критик, журналист. Окончила факультет теологии и мировых культур ОмГУ. Лауреат литературного конкурса имени Ф. М. Достоевского (2005), дипломант Шестого литературного Волошинского конкурса (2008), победитель литературного конкурса короткого рассказа имени В. М. Шукшина «Светлые души» (2012). Печаталась в журналах «Нева», «День и ночь», «Подъем», литературных сборниках. Живет в Красногорске.

- Вера Александровна! Это Аглая.
- Здравствуй, милая! Рада тебя слышать. Ты где сейчас?
- В Москве. Я узнала только что, про Егора. Ничего не понимаю, как так? Это ошибка какая-то?
- Нет. Не ошибка. Это двести восемьдесят вторая статья. Все очень серьезно. Но я не могу так, по телефону... А ты еще долго в Москве?
- Билет на послезавтра. Со следующей недели у меня лекции.
- Лекции... Молодчина, не бросила это гиблое дело. Только не увидимся.
- Вера Александровна, чем Егору помочь?
- Я наняла адвоката. Будет вытаскивать. Пока идет следствие, потом будет суд. Если суд не оправдает, сядет в колонию, — она помолчала. — Мой сын — в колонию, представляешь?

Не представляю, дорогая Вера Александровна.

И, главное, времени в обрез. Аглая попыталась дозвониться до Миши. Но все его телефоны из старой записной книжки — аккуратно записанные в ряд и зачеркнутые — молчали. В квартире родителей тоже никто не отвечал. Кто-то скидывал ей телефон Кирилла, но она никогда прежде ему не звонила. С тех самых пор. За целых десять лет.

Договорились на встречу в каком-то японском ресторане, где Кирилл был всегда. Причудливые иероглифы на вывеске, бамбук, картины тонкой кистью. Почти все места заняты. «Я буду под пальмой у окна». Точно, ждет. Темно-синий костюм, небесного цвета галстук, модная стрижка — весь как с картинки. И, глядя на него, она внезапно ощущает свою провинциальность, как толстую неказистую шкуру. И, наконец, заливается румянцем от этой мысли.

- Почему мне никто ничего не рассказал?
- Аглай, ну каждый понадеялся на другого. Да и что ты можешь сделать?
- А ты? У тебя же есть выходы? Если передачу снять?
- Ну, какие там выходы... Да и представь, сколько людей сидит в стране. И о каждом программу делать? Абсурд? Абсурд! Ты успокойся. Главное — успокоиться. Адвоката наняли, дело движется. А что ты так переживаешь за Егора? У вас же с ним вроде ничего не было, или я что-то упустил?
- Кирилл, ну что ты такое несешь? И так тошно.
- Просто непонятно. Приехала, суетишься, панику нагоняешь.
- Он же твой товарищ. Вспомни, как тебе помогал тогда? Мог бы тоже — забить. Мы что теперь — чужие друг другу? Не нужен больше человек, и можно забыть о нем, притвориться, что ты его не знаешь?
- Блин, ну я что, этот долг теперь до пенсии отдавать буду? Он помог, потому что он такой. Он умеет. Я не умею. Вот такая прагматичная свинья. И вообще, тут другая ситуация. Политика, экстремизм. Он понимал, во что ввязывается. Это не значит, что автоматом надо втягивать всех нас. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. У меня семья, дети, работа, своя жизнь, в конце концов. Он хочет этим заниматься — пусть. Но если призываешь к бунту, подрываешь государственные устои — будь добр ответить. Порядок надо поддерживать. И так посмотри, что кругом творится.
- Он прежде всего твой друг, ведь так? Старый, уже не нужный, но друг. А уже потом преступник.
- Ну, какой он мне друг, заладила свое. Да, вместе квартиру снимали. Но мы ее десять лет назад снимали. Десять! И что, я сейчас должен все бросить и заниматься

Егором? То есть вот все дела на хрен, побоку? Как была ты не от мира сего, так и осталась. Как ребенок, ей-богу. Что не ешь-то ничего? Завелась! Успокойся, покушай. Выкрутится твой Егор. Вера Александровна там хлопочет. Матери, они знаешь какие — горы свернут. А у тебя, между прочим, какой-то детский подход, белое-черное, черное-белое. Да, это не так замечательно — в тюрьме сидеть. Но и тут есть свои плюсы. Подумай сама, кто он был? Один из миллиона художников. А выйдет — уже человек с биографией. Вот в ЖЖ о нем написали, в оппозиционной газете. Чем плохо? Засветится в медиа, потом это монетизирует. Для карьеры полезно.

Аглая смотрела, как он ест этот странно пахнущий суп, подцепляет ловко палочками склизкие роллы. Как бы японская еда. Все в этом городе как бы — ненастоящее, клон, симулякр, пародия. И люди — вроде бы снаружи все как надо, две руки, две ноги. А заглянешь внутрь — не человеческие, а поистине дьявольские бездны.

Захотелось плеснуть ему в лицо стакан воды. Окатить, очистить, смыть наваждение. Он жевал креветку и улыбался.

— Да, ты именно свинья, Лавилов!

— Детка, пройдет время, и ты поймешь, как я был прав!

Хотелось на свежий воздух. Пахло иноземными специями, и запах был не из неприятных.

— Алло! — женский настороженный голос. Мишина мама.

— Нина Андреевна, здравствуйте, это Аглая. — Молчание.

— Помните, Миша жил у нас на Первомайке?

— А, Глаша? Помню. Вы из Сибири звоните?

— Нет, я в Москве сейчас. Мишу ищу.

— А Миша уехал. На вокзал. У него поезд без пяти десять.

— Без пяти десять? Так я еще успею проводить. Вы мне номер поезда и вагон не подскажите?

Аглая понеслась на Ленинградский вокзал. Там царила привычная суматоха: люди катили свои чемоданы и тележки, тащили баулы, бежали встречать и провожать, в то время как женский голос размеренно объявлял сообщения про прибытие, отправление и пути.

Посмотрела номера вагонов, Мишин где-то в конце перрона. Любимый и родной запах железной дороги, такой приземленный — масло, креозот — и в то же время — запах странствий, далеких земель, запах мечты.

Миша стоял около вагона и курил. Рыжая борода, светлые, коротко подстриженные волосы, очки в золотистой оправе. Одет, как всегда, стильно: темно-оливковое пальто, шоколадно-кремовое кашне, бежевые вельветовые брюки, коричневые ботинки крокодиловой кожи. Не хватает только шляпы и саквояжа, и был бы земским доктором из позапрошлого века.

— Привет! Какие люди! Не ожидал! Ты как здесь? — бросил сигарету, обнял.

— Привет! Мама выдала твое месторасположение.

— Хорошо выглядишь, — отступил театрально, — молодеешь!

— А ты куда собрался?

— Я-то? В гости еду.

— Ты знаешь, что Егор в тюрьме?

— Знаю. — Он достал новую сигарету.

— И что?

— Ну, что? Грустная история.

— Миш, но ведь можно как-то помочь?

— Насколько мне известно, там адвокат хороший. Все сделает.

— А если не сделает?

— Слушай, чего ты от меня-то хочешь? Чтоб я побег организовал или подкуп?

— Говорят, от тридцати тысяч берут... долларов... чтобы... ну ты понял...

— Милая моя, я рад бы, но, во-первых, это противозаконно, а во-вторых, нет у меня таких денег! Если по чесноку, у меня у самого сейчас проблемы. Долги большие, ищут меня. Поэтому и еду. Батюшка знакомый под Псковом обещал приютить. «Надо спастись», — говорит.

— Ну-ну, спасайся. — Она развернулась и пошла прочь.

— Эй, Аглая, подожди!

— Молодой человек, в вагон проходите.

— Глаш, я как вернусь, тебе позвоню! Что-нибудь придумаем!

Поезд нервно дернулся, потом начал плавное движение и повез Мишу — под сень крестов, в богоспасаемую деревеньку, туда, где можно отомолить грехи и спастись.

Перрон опустел — все уехали, и только лениво толкает тележку грузчик, и Аглая бредет одна за несколькими провожающими. Перрон кончится, и дальше — куда? В метро? А ехать — куда?

Одиночество большого города — вот оно, настоящее. Среди миллионов, которым нет дела друг до друга. Едут, бегут, спешат по своим делам. А у тебя — ничего. Пустота. Ты здесь не нужен никому. Ты — никто, и от тебя ничего не зависит.

И мегаполис, как песочные часы, пересыпает и пересыпает человек. Туда-сюда, дом-работа, работа-дом, утро-вечер, день-ночь. Так и проходит жизнь.

— Что же ты не ешь ничего? — Оля подошла к столу, посмотрела в ее тарелку. — Невкусно?

Аглая остановилась на эти несколько дней у бывшей коллеги по университету. Преодолев положенные для приезжего покорителя столицы мытарства, Ольга нашла работу в московском вузе, перевезла семью и продолжила обустройство на новом месте. Несмотря на сложности, она выглядела уверенно, и было ясно, что у нее все получится.

— Нет, Оля, все хорошо, особенно рыба. Только не хочется.

— Ты вообще сегодня странная такая. Не заболела? Уже вирус по городу пошел. Может, арбидольчику или интерферончику? — Она потянулась к кухонному шкафчику.

— Ты лучше ей коньяку налей. — Виталик, Олин муж, заглянул на кухню, взял из вазочки печенье и исчез.

— Могу и коньяку.

— Оля, не надо ничего.

— Мам, а когда она уедет? Я хочу в своей комнате спать. — Оля залилась румянцем.

— Дима, тебе не стыдно? Так нельзя говорить! Аглая — наша гостья.

— Дмитрий, у меня билет на завтра.

— Не обращай на него внимания. Избалованный дальше некуда.

— Я не избалованный, — тут же надулся Дима и ушел.

— Виталик тебя проводит, не забывай.

— Я помню. Помню.

Оля стала убирать со стола.

Уже завтра. Еще один день. Но ведь можно что-то сделать?

Оля, вытирая тарелку, вдруг повернулась:

— Глаш, правда, ничего не случилось?

Аглая рассматривала карту. Тюрьма была почти в центре города. Поехать? Улица Лесная, недалеко от Новослободской. Поди, разыщу? Только дальше что — непонят-

но. Как там эти свидания дают, вряд ли попадешь, да и вообще... Но если не поехать — как потом жить?

«Бутырка? Приемник у них вроде там», — мужичок махнул рукой в сторону. Аглая послушно обошла большой кирпичный дом, выходящий сразу на две улицы, и попала во двор. Там, прямо под тюремными стенами с колючей проволокой, стояла детская площадка, вполне обычная — с цветной пластмассовой горкой, песочницей и каруселью, а на скамейке рядом сидели две пожилые женщины. Одна, полная, в темно-коричневом теплом пальто, отдыхала, подставив солнцу спокойное круглое лицо с мягкими чертами. Вторая, ее соседка, худая, словно спица, с бегающими туда-сюда глазами, вытянутым лицом, крючковатым носом, громко ругалась:

— Телевизор смотреть невозможно. Один разврат, одни убийства! Вот включишь «НТВ», а там — не изнасилуют, так убьют кого ...

— А я вот только наши старые фильмы смотрю. Или про Танюшку Разбежкину новый сериал — видела? Анечка Снаткина ее играет. Просто бесподобно.

— Какая Танечка? Менты там сплошные. Криминал. Чрезвычайные происшествия.

— Маша, может, просто телевизор не смотреть?

— Ну как его не смотреть? Да и вообще, что телевизор! Молодежь-то какая пошла — пьют, колются, морали никакой. Девки одеваются, ты посмотри как! Как проститутки! А проститутток сколько, — она посмотрела в сторону Аглаи.

— Ну что ты говоришь! Есть очень приличные молодые люди, да вот наши соседи, к примеру.

— Какие они приличные? Посдавали квартиры всяким. Проходной двор, а не подъезд. Половины жильцов не знаю. Ошивается разное жулье, — Она снова метнула взгляд на Аглаю. — Вот раньше как было — все соседи знакомы, всех по именам, от старых до малых... Слушай, а ты не хочешь комнату сдать?

— Какое там. Одно беспокойство от этих квартирантов.

— За деньги можно и потерпеть. Привередливая ты больно, Шурка. Ну, ладно, пойдем. А то мне еще на рынок надо сходить.

— Так ты сходи, а я еще посижу.

Старушка встала со скамьи, повязала аккуратней платок, глянула на Аглаю и неожиданно прытко зашагала по дорожке. Спросить? На всякий случай? И Аглая вдруг решилась:

— Извините, а вы за сколько комнату хотите сдать?

— Не знаю, еще и не решила, сдавать или нет. Приезжая? Студентка? Или сидит кто у тебя? — она спросила это мягко, участливо, и от того слезы сами навернулись на глаза.

— Сидит. — Аглая уже не могла сдерживаться и заплакала.

— Ничего, ничего, все будет хорошо. — Она взяла ее за руку.

— Много дали?

— Еще под следствием.

— А за что? В чем обвиняют?

— Экстремизм. Призывал к революции.

— Революционер, значит? Я думала, нет их уже, революционеров. А ты сама откуда будешь?

— Из Н-ска.

— А знаешь, я ведь там родилась. Отец у меня военный, служил как раз. Давно мы оттуда уехали, с того времени и не была. А тебя как зовут?

— Аглая.

— А меня Александра Тимофеевна.

Из ниоткуда возникла Семеновна, поставила на лавку сумку, перевела дух и спросила, ни на кого не глядя:

— А этой что надо?

— Семеновна, не шуми. Горе у человека.

— Тут у всех горе. Тут, — она указала костлявой рукой на тюрьму, — без горя не ходят. И что, всех привычать теперь? Отправь ее с Богом.

— Я ее к себе жить возьму.

— Возьми-возьми, она тебя ночью уколошит и ограбит.

— Что у меня грабить-то?

— Найдет что. Вон как зыркает.

— Сколько взять-то за комнату?

— Десять проси.

— Не много ли?

— А что, центр города, район хороший. Рядом с метро. Точно, десять!

— Десять у меня не будет.

— Ну вот, денег нет, а набивается.

— Ладно, Аглая, дашь, сколько есть.

— Мама, мне нужно остаться в Москве на какое-то время...

— Аглая! Скажи мне, у тебя роман? Роман, да? — он выговаривала это слово прямо как в кино. — Скажи мне, кто он и насколько это серьезно?

— Нет никакого романа! У меня просто дела, которые требуют моего присутствия.

— Что это за дела, интересно, такие? А университет? Отпуск за свой счет? Не вздумай увольняться! Ты слышишь?

— Слышу...

— Когда вернешься?

Если бы знать.

— Почему молчишь? Объясни толком, в конце концов, почему ты должна остаться?

— Потому что больше некому.

— Некому что?

— Нет, ничего. Вернусь через месяц.

Желудь. Маленький дирижабль, закончивший свой полет. Беззащитная голова — всем ветрам. Гладкий бочок, хватать волчок. Щелк-щелк, летят желуди с дерева мира, щелк-щелк, судьба отбирает ненужных. Или нужных там, куда пока не добраться.

Лаковая пуля — мимо, еще поживем, осенний амулет на случай заморозков, надежда на новую поросль весной, гладишь, гладишь, и даже кажется живой под пальцами, лесной зверок. Прижился в кармане, что ж, заберу...

Московская осень — манок для приезжего. Огромные пятипалые листья кленов, дубовые — похожие на следы ребятишек, а трава зелена и густа. Как будто еще не все потеряно и можно остановить движение времени. Идти сквозь осень по бульварам, паркам и уголкам старинных, величественных усадеб, погруженных в тишину. Ловить отголоски прошлого. Вдыхать древесный и лиственный запах, в котором — свежесть и тление сливаются воедино, и от того он особо упоителен.

А потом позолота спадает, ржавеет, чернеет — серые будни, с небом, похожим на огромную сизую подушку, такой хорошо придушить какого-нибудь неугодного императора или вот тебя, тебя, кто ты там? Иркутянин, вологжанин, курянин? С ноября по март лишать тебя свежего воздуха, солнца, давить, лишая сил, превращая в бледный

росток, пробивающийся сквозь твердый асфальт мегаполиса. Ну и что, хороша здесь жизнь, хороша?

По ветру летят паутинки, золотятся на солнце. И понимаешь в одно мгновение, что и сам ты — на тонкой-тонкой паутинке, и уходит она в небесную высь, и кто знает, когда порвется... Всматриваешься в стеклянный воздух, что там, за тонкой гранью? Тени умерших, крылья ангелов, предначертанное. А надо ли знать? Скучно жить провидцу на земле. Аглая собирает последний осенний букет: сиреневый клевер, розовый тысячелистник, лиловые васильки.

Что предопределено и можно ли убежать от судьбы? Поменять город, запутать следы? Не я, не мне предназначено. Пусть другая живет жизнью Аглаи, а она будет глядеть поверх расстояний, довольная: смогла, удалось.

Она уже была в такой квартире. Только после смерти. Здесь все говорило о том, что было до. Запах лекарств и старости. Пыльные окна, сизый плющ, то ли жив, то ли засох. Складочки с лекарствами, блистеры с таблетками, банки с неизвестным содержимым. Сколько баба Шура жила так? Пять лет? Десять? Замерев между жизнью и смертью, ожидая своей очереди. Ведь нельзя же здесь жить, жить по-настоящему?

— Вот смотри, это твоя комната. Девчонка у меня одна снимала последний раз. Да шептунья такая, устала от нее. Приходила поздно и все по телефону трещала. Никакого покоя не было. Съехала, а я думаю, никого не буду брать. Поживу в тишине.

Две комнаты, крохотная кухонька. Затхлый запах, темно. На окне — два серых алоэ, серые занавески. На раковине — полоска ржавчины. Протертый паркет, ненювые дорожки.

Аглае вдруг захотелось все бросить и бежать отсюда. Это какая-то ошибка — о чем она думала?

Или о ком?

Ведь ему намного хуже.

— Аглая, будешь чай пить?

Чужая угасающая жизнь окружила ее со всех сторон. Казалось, можно задохнуться. Она проглотила комок в горле.

Если он может, то я и смогу?

— Буду. Спасибо.

Окна большой комнаты выходили на оживленную Новослободскую улицу. Тимофеевна любила, облокотившись на широкий подоконник, смотреть на поток машин, несущихся вниз. Жизнь ее была незатейлива: завтрак, телевизор, обед, прогулка, ужин, телевизор, сон. Каждый день Марья Семеновна выводила ее гулять, усаживала на скамейку, а сама, юркая, деловитая, уходила то в магазин, то на почту, то в какой-нибудь собес или ЖЭК. Тимофеевна сидела, дышала воздухом, подремывая, ждала подругу. Семеновна прибегала с полными сумками, поправляла свой платочек, зорко глядела по сторонам, с особой подозрительностью всматриваясь в Аглаю.

— Тебе на работу надо. Ты кем работаешь-то?

— Преподаю философию.

— И что, за такое деньги платят?

— Платят.

— Ну, у себя там и преподавай, а здесь надо крутиться, вертеться, чтоб прокормиться. Нянькой пойдешь? У соседей девчонку надо из сада забирать, некому. На квартиру и гречку хватит.

Семеновна перекладывала часть продуктов из сумки в пакет — для Тимофеевны:

— Вот не понимаю я тебя, девка. Че в Москву приперлась-то? Дом, работа. Живи — не горюй. Нет, едет. Сдался тебе ээк? Тебе замуж надо, семью. Философия какая-то. Ты в детстве, часом, с лавки не падала? У меня в твои годы уже сын был, который на девок заглядывался. А ты все ждешь чего-то. Отсохнет у тебя там все, тогда уже никаких детей. Кому ты нужна-то будешь? Глупая баба, даже удивительно.

Она сверлила Аглаю своими голубыми, ясными, такими чистыми, напоминающими незабудки глазами.

— Ну чего ты, ни бэ ни мэ? Пойдешь нянькой? Чето думает еще.

— Пойду.

— Ну, вот и ладно. Ты, это, быстрее как-то соображай, чай, не из деревни. Училка ко всему. Как студентов-то такая отморозенная учишь?

— А вы можете без грубостей? Не хамить?

— Слушай, девка, я и так с тобой любезна выше крыши, поэтому давай роток на замок и шевелись. Окна Тимофеевне вымой, что ли. Прибери тут. Человек старый, немощный. Я тоже уже в годах женщина. А ты молодая, займись чем-нибудь полезным. А то Гегель, поди, один в башке.

Это была обычная современная семья: родители выплачивали ипотеку, работали на разных концах города, часто задерживались — то одно, то другое, и вообще — конкуренция, надо шевелиться, сдавать проекты, заслуживать премии, чтобы быстрее — карьера, отдать долги, поменять «хендай» на «мерс», слетать в отпуск (обязательно «пять звезд»), и вообще — держать марку, не хуже, чем у других. Дома они успевали только поесть наскоро приготовленный фастфуд, быстро покрошенный салат, макароны — неизменно альденте. А потом надо было уже ложиться спать, чтобы завтра снова в бой. Маленькая Лиза смиренно подчинялась этому колесу судьбы, другой жизни она не знала. При их первой встрече оглядела Аглаю взрослым, сосредоточенным взглядом, спокойно обронила: «Хорошо» — и ушла смотреть телевизор.

— Думаешь, я с... бессердечная? На ребенка времени нет, все работа, совещания, звонки? Не думаешь, а я вот частенько об этом размышляю. Смотришь на эту девчущечку, жалко ее, жалко себя. Только делать что. Вылезли с мужем из гребаной дыры, и, слава богу, надо карабкаться. И будем. Хочу, чтобы у нее все было. Пусть жертвы неизбежны. Но ведь потом она мне только спасибо скажет. За то, что не знает, как донашивать платье старшей сестры или ботинки брата. Что хлебушек, посыпанный сахаром, — самое вкусное лакомство в мире. За то, что первый раз море увидела в пять лет, а не в двадцать пять. Нет, у нее все будет. Только надо потерпеть, — она вытащила из сумки кошелек, отсчитала несколько купюр. — До завтра.

Как странно все же, что тюрьма прямо в центре города, правда, мало кто знает, что она именно здесь — за большим, в одиннадцать подъездов, домом ее не видно. С глаз долой, из сердца — вон.

Когда-то Бутырский губернский тюремный замок по приказу Екатерины спроектировал сам Матвей Казаков — с Покровским храмом и четырьмя башнями: Полицейской, Северной, Часовой и Южной. В подвале последней, закованный в цепи, сидел в свое время Емельян Пугачев, и она стала носить его имя. Нет уж давно и Пугачева, и народная память о нем сходит на нет, а башня стоит и, видно, будет долго стоять...

Здесь бывал Толстой — приглядывал фактуру для «Воскресения», расспрашивал надзирателей, с отправляемыми в Сибирь осужденными прошел путь до Николаевско-

го вокзала, чтобы потом написать об этом в романе. Кто тут бывал еще? И совсем не с творческими целями? Владимир Маяковский, Нестор Махно, Феликс Дзержинский.

В Бутырке выступал иллюзионист Гарри Гудини, демонстрируя заключенным, как можно, несмотря на кандалы и цепи, выбраться из транспортировочного ящика.

Во время Большого террора тюрьма перемолола не одну тысячу человек. Здесь содержались Варлам Шаламов, Осип Мандельштам, Сергей Королев, Александр Солженицын, Евгения Гинзбург. А потом, много позже, в Бутырке снимались сцены «Семнадцати мгновений весны».

Здесь идет совершенно обычная жизнь, как и везде. Вот подъезжают крутые машинки, из которых деловитые женщины и мужчины выгружают охапки пакетов, испещренные надписями модных брендов и названий торговых сетей, вот совершают ежедневный променад старички и старушки, выгуливают собак — в основном крупных, похожих на телят, только оскал у них совсем нетелячий. Иногда из Бутырки выходят молодые охранники с овчарками, ходят вдоль забора, не поймешь, проверяют территорию или ищут что. Бывает, слышны выстрелы — может, ворон постреливают, их тут много, каркают, не устают призывать беду. Около первого подъезда и мусорных баков — приемник, там все время стоят милицейские машины. Тут же небольшой магазинчик — можно купить пива и чипсов, посидеть во дворике — центр, сень деревьев, в жару хорошо.

Нет ничего необычного в том, чтобы жить во дворе тюрьмы. Ничего.

— В школе вообще кошмар. Учителя косо смотрят, завуч там одна меня не любит, так предлагала уволить. А ведь год до пенсии остался. Спасает только дефицит кадров, никто преподавать не хочет. А так бы уволили... Ученику недавно замечание сделала, а он мне: «Вы бы своего сына лучше поучали». Вот так, да. Все все знают. Позор. И если б еще подлецом каким был, убийцей — ведь нет...

Она смотрела в окно на тюрьму, где был ее сын. Совсем рядом.

Вертела в руках сигарету, то и дело поправляя часы на тонком запястье. Аглая никогда не видела Веру Александровну такой — будто высохшей изнутри, полной нервной, нездоровой энергии.

— Зачем я его воспитывала таким? Хорошему человеку не выжить, да он и не нужен сейчас. А кто нужен? Вор или приспособленец.

Муж предлагал уехать в Германию в девяностых. Мы развелись уже тогда, а он говорит: «Давай снова сойдемся, увезем Егора. Все у нас будет — и домик чистенький, и «мерседес», и садик с цветами, и вообще будущее, а здесь-то что?» Но мы с Егором не поехали. Может, зря? Может, надо было валить отсюда? И не сидел бы он сейчас в тюрьме...

Она вытерла слезы.

— Господи, что я несу? Пошли они все!

— У меня завтра встреча с адвокатом. Отец Егора денег передал, друзья кое-что собрали. Только бы сделал что-нибудь. Боюсь, последнее отдадим, а Егор останется там. — Она посмотрела на темные стены с колючей проволокой.

— Тогда, помнишь, Беата уехала? Тогда все и началось. Деньги, деньги, мам, я столько заработал, мам, у меня такой проект, у меня сякой проект, машину в кредит взял. Ипотека. Радовалась сначала за него. Мы всегда скромно жили, а тут... Подарками стал заваливать, ремонт сделали в нашей старой квартире. Сам радовался, как ребенок. Только по выходным, бывало, звоню, не отвечает. Потом говорит: «Занят, работал», я и верила... Однажды приехал, вроде веселый, говорили-говорили, ушла в магазин,

возвращаюсь, уже грустный какой-то, молчит. Посидел-посидел: «Надо ехать» — и ушел. А я в его комнату заглянула — старые рисунки на столе лежат. Смотрел, значит.

Пил он в выходные, компания какая-то была. Прямо там, в фирме.

Мама, а что мне делать? У меня ипотека на пятнадцать лет. Мне работать надо. Тошнит, а надо. И самое страшное — вернуться нельзя. Раз предал, уже все. Годы упущены.

Зачем он полез? Ведь можно было не лезть... Ходить на работу, спокойно ужинать в ресторанах, вечером — в клуб, или театр, или 3D, симпатичная девушка. На Рождество — Австрия или Таиланд, на майские — Кипр, потом отпуск. Загорелый, опустошенный возвращаешься в мегаполис. На Рождество — Прага или что там... Многие ведь так и живут. И ничего. Все, о чем мечтал, сбылось. Деньги, работа, карьера. Выходить на площадь, что-то требовать — не глупость ли, не безумие? На что он надеялся? Все искал правды и справедливости. А есть ли они? И под силу ли одному единственному человеку сдвинуть горы?

Зачем ты, Егорушка, зачем, мой хороший...

Вера Александровна вынимала продукты из упаковок и по правилам тюремных передач складывала в отдельные прозрачные пакеты.

— Так, вроде все, видишь, дома не успела. Еще не забыть сигареты купить. Но я там покупаю, в тюремном магазине, чтобы не испортили, они же их ломают, чтобы в них чего запрещенного не передали. Магазин, кстати, хороший, цены сносные. Нет, не курит он, но сигареты как валюта, пусть будут, выручат, если что.

— Ты вряд ли к нему попадешь. Нет там таких категорий — друг, товарищ, есть — иные лица. Но они там не нужны. Спасибо, что меня пускают. Следовательно не особо расположен.

По наивности Аглая полагала, что сможет навещать Егора, словно тот был в больнице.

— А как так может быть?

— Следовательно дает разрешения на посещение только мне. Мог бы и мне не давать, его воля.

— Но ведь по закону можно и не родственникам?

— Наверное, можно. Но к Егору друзей не пускают. А кто у него еще есть? Только я. Да, и письма к нему не доходят. Те, которые по почте. Следовательно, видимо, так вразумляет. Но Егор просил куда-то жаловаться, потерпит. Говорит, мама, не надо этого ничего, после заявлений нас трясут, переселяют или подвешивают — сидим с вещами, ждем, а потом — остаемся на месте. Сокамерники нервничают. К начальству вызывают для объяснений, бывает, несколько дней потом приходится все утрясать, ничего приятного. Не по понятиям это — вот как ему сказали.

— А я же дуб дубом. Взяли его, думали, подержат, выпустят скоро. Ну, месяц. А ипотека капает, надо делать взносы. За два месяца ухлопала свои сбережения, пока со всеми расплатилась — банк, нотариус, — нужно кучу документов заверять, поездки эти, передачи, адвокат. Сейчас там, у Егора, жильцы снимают, помогают погашать.

— Живешь своей жизнью, на одно-другое сетуешь и думаешь, что не свободен. А настоящая несвобода — это вот как...

— Грязь, блохи, плесень, холод. Сейчас впятером сидят, солнца нет, отопления нет. Мерзнут. Ватник ему передала, говорит, лучший подарок. Вода в кране только холодная, душ раз в неделю. Слышно не очень, по трубке по этой, но за час разговора при-

выкаешь. Я пораньше иду — чтобы он недолго свидания ждал, их выводят в семь утра, и они потом в стакане, в будке такой сидят. Да, как собаки в будке ...

— Знаешь, он ведь там с разными людьми находится. И с осужденными, и с рецидивистами, психи тоже есть, наркоманы и больные: гепатит, туберкулез. Да, вот так. Обмолвился как-то, а потом уходил с этой темы, чтобы меня не расстраивать. Но я это помню. Каждый день. Боишься, чтоб не случилось чего. Чтоб не спросили — это бьют когда, не унизили. Свои у них там законы, у всех — что у вертухаев этих, что у эзков. А он шутит все, рассказывает, как они там кашеварят, супы в чайнике варят, разные похлебки. Дачки-передачи быстро кончаются — представь, мужиков пять, все голодные, какой колбасой их прокормишь? Мясо нельзя, вот колбасу, сыр, сало положу, овощи. Сало они очень любят. Холодильник, бывает, есть в камере, бывает, нет. Да еще какой — морозит-не морозит. Крупы, хлопья, вся эта вермишель вредная, пюре. Ну, хоть так. И чай все время пьют. Похудел, бледный, изможденный. И курят там постоянно. Говорит, устал больше всего от того, что нечем дышать. Все пропахло табак: стены, постель, одежда, волосы.

— Подъем, проверка, завтрак, прогулка. Потом обед, сон, ужин, сон. Можно читать. Но те книги, что я присылала, так и не дошли. А он все: не жалуйся, мам. Неважно. Да, по сравнению с тем, что вообще произошло, — это не важно.

Она старалась говорить так, будто ее сын в каком-то специализированном пионерлагере.

— Ну, ладно, пойдем. Бери сумку, вон ту синюю, она полегче. Ты меня дома потом подожди, не майся. Ну, с Богом.

Вера Александровна вернулась через несколько часов, от ее прежней энергичности не осталось и следа.

— Аглая, ты можешь мне чаю сделать? Что-то мне нехорошо, — она достала сигарету, подержала ее в руках. — Нехорошо. Нет, знаешь, не надо ничего. Я просто прилягу. — И она легла на кровать, свернувшись, подобрав под себя ноги. Аглая подошла и молча укрыла ее пледом.

Вера Александровна закрыла лицо рукой и заплакала.

— За что? За что это все?

— Его выпустят. Обязательно. — Аглая гладила ее по плечу.

— Я не знаю. Я ничего не могу. Вся эта казенная система — это как головой об стену. Сплошное бессилие.

— Он выйдет, выберется.

— Аглай, у меня в сумке корвалол, накапай, пожалуйста, что-то плохо совсем. Не могу. Слишком больно.

В комнате повис удушливый запах лекарства. Вера Александровна уснула.

— Он бы не хотел, чтобы я так, — она обвела рукой опухшее лицо. — Так нельзя, конечно. Он переживает, что подвел меня. Но иногда просто не выдержишь — сидит там в этой клетке, и ты с этими бумажками, досмотрами... Ладно, ничего, мы все выдержим. Пойдем пить чай. Где-то варенье еще лежит.

Аглая поставила на плиту чайник, Вера Александровна оглядела кухню — крохотную, на двоих, с шумным, пожелтевшим от времени холодильником и рычащей колонкой с ярко-синим пламенем внутри.

— Глаша, а зачем ты осталась? Непонятно, чем дело кончится и когда. Адвокат сказал, что будет подавать кассационную жалобу. Уже два месяца прошло, как продлили срок содержания.

— Я помогу собрать денег.

— Денег?.. Думаешь, нужны мы кому-то со своими бедами?.. Наивные дети своего времени, — она задумчиво оглядела Аглаю, словно увидев в первый раз, — не пожалее оно вас.

Поздняя осень уже давала о себе знать. Утра были сплошь серые, беспросветные, холодные. Выйдешь — и пар изо рта. Листья пожухли и теперь были похожи на коричневые сморщенные сухофрукты из компота, прогорклые, исчерпавшие срок годности. Больше не было никакого свечения, торжественной, храмовой позолоты. Все померкло, и даже дышать стало труднее. Аглая глядела в окно на тяжелые, мокрые ветви деревьев, уставших от дождя, листвы, жизни.

Вышла из подъезда, и открылась застывшая картина: сумеречный двор, старики, сидящие на лавочке у флигеля, похожие не на людей, а на тени — в темных пальто, недвижимые, молчаливые. Опадающие медленно листья, колючая проволока, крепкая стена. Она шла мимо, а фигуры даже не повернули головы, будто их охватил смертельный сон. Достоевщина двадцать первого века.

Через арку на улицу — а там уже бежали машины, там город сам подгонял время. Текли потоки сквозь серый, влажный воздух, ничего не боясь, не останавливаясь. И она тоже влилась и шагала быстро, но те — черные — еще стояли у нее перед глазами.

— Шур, это не ты была сегодня на «Прямой линии»?

— Какой еще линии?

— Ну, пресс-конференция президента!

— Да ну тебя, Маня, скажешь чего.

— А я думала, ты, Шурка. Смотришь, как Владимир Владимирович на вопросы отвечает, понимаешь, как все джуге гарно устроено в стране, и вдруг захлестывает тебя благодарностью, подтягивашь телефон и звонишь — а почему бы не поблагодарить хорошего человека, — она прижала руку к впалой груди, — «Господи... спасибо вам, огромное спасибо». И трубку повесила, чтоб, значит, анонимно.

— Ой, придумашь тоже. Не я это! Не я!

— Не ты, так такая же. Сидит которая с хрен знает какой пенсией. Половина чтоб на коммуналку, а другая — на лекарства. И выкраивает соточку на шоколадку к чаю. И за все благодарная.

— А почему нет? Мне много и не надо. А пенсии у нас с тобой, Маня, еще божеские, грех жаловаться. Не то что у тех, кто после нас выходит.

— Ох, не знаю, не знаю, Шура. В марте-то выборы. А два срока уже отмотал, больше нельзя. Как мы без него, без царя-батюшки? На кого оставит нас? Как выкрутятся? Ох, чую, что-то будет.

Идешь вдоль дома к подъезду и как будто находишься на границе двух миров. По левую руку — окна Бутырки, а по правую — окна шикарного салона света. И там, и там — решетки. Только салон света напоминает то ли аквариум с тропическими рыбами, большими, сияющими, яркими, то ли волшебный сад с райскими птицами и манящими запретными плодами, переливающимися, сверкающими. Там все светло, чисто, красиво, там лух в чистом виде (правда, имеющий свою цену с немалым количеством нулей). И этот свет забран решетками, забаррикадирован — не укради волшебства,

смотри издали. А издали — угрюмые, мрачные, сочащиеся тоской окна тюрьмы. Взгляды этих окон не пересекаются, не отражаются друг в друге, им не хватает пространства. И лишь прохожий повернет голову направо, голову налево и пойдет своей дорогой. Ведь большинство из нас — вне этих миров.

Лиза копает лопаткой снег. Вот так, подкопать бытие, устойчивое, кристаллик к кристаллику. Перевернуть его с ног на голову. Аглая берет у девочки лопатку и начинает машинально ковырять белый смерзшийся наст. Здесь никогда не гуляют дети. Где они все? По садикам и школам? Песочница, качели, горка всегда пустыют. А может, тут и нет никаких детей. Такой мир.

Быстро наплывают зимние сумерки, и все вокруг кажется зыбким. Оглядывается в страхе — показалось, что и Лиза исчезла, растаяла. Нет, копошится возле забора. Доносятся автомобильные гудки, горожане начинают компоноваться в пробки и возвращаться домой. Снег не поддается. Нет! Она все-таки добьется своего. Хотя так просто его не возьмешь, с первого раза. Но она будет пытаться. Двор заливают густой синей краской, загораются огни.

— Лиза, нам пора!

Фонарь с вышки — совсем рядом за окном, беззастенчиво льет свет сквозь задернутую занавеску. Не дает затеплиться ни мечте, ни сновидческому путешествию. Где-то капает вода, шумят трубы. От стекла веет зимней стужей. Тимофеевна на кухне при свете лампы перебирает таблетки в жестяной коробке.

— Тело. Что тело. Непонятно. Вдруг начинает предавать тебя. Думаешь, все-таки оно одно с тобою. Нет, само по себе. Не слушается. Почему старость? Почему болезнь? И ведь ты не хотел этого, а приходится жить. Иногда кажется, ты в нем, как в тюрьме.

А чего боюсь — так это слечь. Лежать, как овощ, гнить, когда и пролежни, и остальное. Правда, боюсь. А если еще и мозги откажут. Знаешь, может, лучше во сне умереть, пока еще не совсем развалина. И уж вроде отработала свое. Чего белый свет коптит. А как начнешь думать — страшно. И хочется этой жизни, ну пусть денек, пусть другой. Встаешь, видишь, солнце взошло — и ничего, как-нибудь... Ты чего не спишь, Аглая? Иди спать, отдыхай. Утро вечера мудреней.

Вдруг за окнами — вздрагиваешь от неожиданности — раздаются взрывы, и начинают распускаться огромные шапки цветов, верещит сигнализация, в доме зажигаются огни. Аглая непонимающе глядит на странный ночной салют, озаряющий все вокруг ярким светом.

— Это для сидельца местного. Может, шишка какая в заключении или смотрящего поздравляют. Бывает иногда.

Шумная иллюминация внезапно стихает, всхлипывают напоследок машинки, и двор погружается во тьму.

Женщину, открывшую дверь — стройную, с коротко подстриженными огненно-рыжими волосами, зелеными глазами, в джинсах и простой серой футболке, — она сначала приняла за старшую дочь Аси. Потом вспомнила, что старшие у нее — мальчики.

— Заходите, Аглая, раздевайтесь, я сейчас. — Она нырнула в глубину квартиры и вернулась с ребенком на руках. — Это моя младшая, Маришка. Все не спит и не спит, а уже время. — Маришка вытаращила глаза и вдруг заплакала. — Ну, начинается... Аглая, дайте на кухню. Попробую ее все-таки укачать.

Аглая прошла по коридору, где на вешалке громоздилась разноцветная одежда всех размеров, а рядом стояла в ряд обувь на любой выбор: ботинки, кроссовки, валенки,

сапожки. Кухня была светлой и просторной, с эркером и большим столом в центре. У раковины светловолосый бородач в клетчатой рубашке чистил картошку.

— Петя, а вот и наша гостья!

— Приятно познакомиться. Аглая, — она протянула ладонь.

— Петр! Не камень, но муж, — представился бородач, вытирая руки о полотенце.

— Это как сказать, — прокомментировала Ася.

— Ася Юрьевна за свое.

— Я же в хорошем смысле — за Петром как за каменной стеной.

— Она шутит, не обращайтесь внимания. Чай, кофе? Не побоюсь этого слова — какао?

— Ну, что за какао, а курица?

— Курица заброшена. В духовку, имею в виду. И почему такая бесцеремонность?

В хороших домах гостю всегда сначала предлагают напитки!

— Можно чаю, — примирительно откликнулась Аглая, одним ухом слушая словесный пинг-понг и разглядывая обстановку: пальму на подоконнике, еще не распустившиеся гиацинты в деревянном ящичке, стопку книг — вперемешку детские и взрослые, свечи в разноцветных стеклянных подсвечниках. Семейные фото на стенах и чьи-то вполне профессиональные рисунки в рамках: море и скалы, старая крепость, заросший сад, дети на берегу, букеты.

— Ася, это ваши?

— Мои — было время... Эх, Петя, мы как всегда. Приглашали человека на ужин, а будет кормить разговорами. Наш фирменный прием.

— Ужин задерживается, как в лучших ресторанах. Небольшое смещение графика.

— Аню из садика забрали?

— Забрали. И она просила ее называть теперь Ньюшей.

— Ну, какая Ньюша? Как свинка из мультика? Их там хоть покормили?

— Конечно, их покормили, их каждый день кормят. А ты каждый день спрашиваешь.

— Ну, Петь! Так, Маришка вроде отрубается, пойду положу ее. Вы, пожалуйста, не обращайтесь внимания, пейте чай. Я сейчас вернусь. Петь, курица скоро?

— Я бы не сказал.

— Можно еще салатiku построгать.

— Можно! Как живут семьи, в которых нет Аси Юрьевны, даже не могу вообразить. — Петя меланхолично достал разделочную доску и овощи. — Шучу, конечно. Реально не представляю себя матерью четверых детей, отцом-то с трудом.

Где-то сладко посапывала Маришка, иногда доносились негромкие обрывки детских разговоров, каких-то мультфильмов.

В духовке шкворчала курица, издавая аромат на весь дом. Посреди стола уже был водружен салат из зелени, какие-то закуски. Петр налил Аглае вторую чашку чаю и под возмущенные комментарии жены — «сладкое перед ужином?! ну, перебьем же аппетит!» — предложил еще пряников и варенья.

— Мы с Егором раньше вместе работали, я в айти, он — как любили говорить у нас — дезигнером. Потом я ушел — мне нужна была работа с гибким графиком, чтобы Асе помогать с детьми. Но мы продолжали общаться. Он частенько в гости заглядывал. У нас тут вообще кружок образовался, как это бывает в интеллигентных кругах. Что только не обсуждали. А случилось все как-то неожиданно. Он сказал, что придумал акцию. Ну и...

— Ситуация с Егором просто ни в какие ворота не лезет.

— Что от нас зависит, мы сделали: нашли адвоката, какие-то деньги. Старались привлечь внимание общественности, но как-то тухло. Он же ничей. Ни к каким оппозиционным кругам не принадлежит. Просто человек решил выразить свой протест. Написали один раз и забыли...

— Я вообще иногда не могу понять, как мы до этого — всего — докатились. Нас же все детство и юность учили, что капиталисты — это наши враги, что это люди без чести, без совести, что ради денег они готовы на все. Что капитализм хорошим не бывает. А потом — раз. И все поменялось. И люди слились. Сами же секретари обкомов, комсомольцы, партбонзы превратились в миллионеров, первостатейных буржуев, владельцев газет-пароходов. Как так произошло?

— Да людям по фигу, на самом деле. Власть берет пассионарное меньшинство, а остальные адаптируются к окружающей среде.

— Эксплуатация человека человеком омерзительна! Ради чего человеку работать? Чтобы кормить очередного олигарха или чиновника? Дом ему построить или детей за границу отправить учиться и жить? В то время когда твои дети раз в месяц мясо едят? Или не замечать этого — мол, меня не касается. Ни бомжи на улицах, ни разбитые дороги, ни поликлиники с ржавыми унитазами, обвалившимися стенами, не то что без лекарств — без бинтов!

— Ну да, а что — все это так похоже на обычные природные явления. Зиму, например. Если заикливаться все время на том, что холодно, просто замерзнешь. Здесь так же.

— Такой мощный социальный откат — а люди его толком не осознают. Тем более ведь не все проиграли.

Вот мещанин-потребитель одержал победу. Он теперь все может купить. Он не боится, что бесплатная медицина катится к чертям и образование туда же, он же все может приобрести за денежку: доктора, элитную школу, диплом. Только дальше что? Как можно отгородиться от общества, где будут миллионы больных, необразованных, асоциальных, бесперспективных и, возможно, агрессивных людей? Только уехать. Ну, может и уедут они все, не знаю. А нам некуда уезжать.

— Ася Юрьевна, вы все-таки не на партсобрании. Имейте совесть. Мне иногда кажется, что я живу с Александрой Коллонтай.

— Александра Михайловна мне, кстати, симпатична. Петя, я просто хочу, чтоб Аглая поняла — Егор не просто так вышел. Для него это были насущные вопросы. И он хотел не только говорить, но и делать. Что-то менять. Он ведь пытался принять правила игры. Добился хорошего места в системе. Но если вся игра построена на лжи, то выиграть невозможно. И должен быть какой-то выход. Поступок.

— На который я, например, не решился. Потому что у меня жена и четверо детей, за которых я несу ответственность.

— А может, надо было, Петя? Ведь самое страшное — что детям? Я не только про своих, я — вообще. Вроде загружены по самые макушки: бассейны, английский, шахматы, кружки, как полагается. А разговоры все равно о том, кто круче, у кого денег больше. Айфоны, айпады, тачки. Сидишь, ждешь ребятишек с каких-нибудь занятий и слушаешь. Как они некрутых обсуждают, чьих-то бедных родителей, чьи-то шмотки дешевые. А с другой стороны — их же матери о том же, кто что купил, куда съездил. Терпеть этих куриц не могу — честно говорю. Может, классовое сознание во мне вопиет. Или как в таких случаях обычно принято говорить: это вы завидуете. Ага. Меряются отпусками, машинками, мужьями, детьми.

А еще ЕГЭ этот. Чтоб и с мозгами уже все бесповоротно. Передо мной стоял вопрос: хочу ли я, чтоб мои дети жили в таком окружении. Был соблазн убежать. В глухую деревню или просто на домашнее обучение. Но в этом была бы определенная трусость. Мы не такие. Хотя, конечно, сложно.

— А я верю в людей. В них есть хорошее. Просто им приходится принимать правила игры. When you in Rome, do as the Romans do. Понимаешь? Как христиане в древ-

нем Риме, в катакомбах служат мессу, а выходят на улицы Вечного города и становятся, как все.

— Лицемерие, Петя.

— Не всем же быть такими умными, как ты, Ася. Людям сложно разобраться. Сложно жить в постоянном конфликте с системой ценностей. Поневоле примиряешься.

— Вот именно! И тогда можно все.

— Осуждать мы можем сколько угодно.

— Люди запуганы. Держат в страхе, как овец. Революция — ну это же будут громить, убивать, добро отбирать. Лучше уж пусть так, тихо, покойно, за счет кого-то. У кого судебные приставы имущество описывают, кого коллекторы жгут, кто в нищете живет, да мало ли незаконный — новости открой, и будет тебе готовый список. Знать все это и еще ко всему про ГУЛАГ порассуждать за чашкой кофе или экраном компьютера. Благодушное лицемерие. Потому что вот он — ГУЛАГ настоящего. Только легко выяснять, почему отцы и деды его допустили, а почему ты сам ничего не делаешь, уже неприятно. Проще в прошлое убежать, а настоящее обозвать нормальным, стабильным, черт знает каким.

И дело не в Путине или Медведеве. Государство — это инструмент тех, кто владеет частной собственностью. Вот и все. Они никогда не отдадут ни собственность, ни власть.

— И все равно, Ася, остается один вопрос: допустим, все получилось, систему свергли, но вместе с тем развалили и государство. Ну, не смогли удержать. И страны больше нет. Что бы ты выбрала? Россию или революцию?

— Подожди, Маришка, похоже, проснулась.

— Пойду посмотрю.

— Да, сходи, пожалуйста. И зови всех к столу.

Старые добрые русские кухни, на которых одновременно готовятся обеды и революции. С пылу с жару — на стол эпохи. Потом расхлебывай. Аглая не лезла в политику. Конечно, на кафедре были все эти разговоры. Куда катится, что будет, реформа образования, коммунальные растут, где подработать, куда власть смотрит. Она не хотела вдаваться. От нее самой ничего не зависело, к чему переливать из пустое в порожнее. Что изменится, стань она за белых или за красных? Несправедливость происходящего угнетала ее, как и других. Но согласилась бы она — чтобы все, как семьдесят лет назад, вверх тормашками, ради светлого будущего. Или даже — чтобы как в девяносто первом? Зачем далеко ходить? Ведь все у них было на глазах, только это не называли революцией. И голодали, и разборки видели, и как одноклассники от наркоты умирали, и зарплаты родительской ждали как манны небесной. И как наверх кто-то взлетал — тоже видели. Если изменений — то нет, больше такого не надо. Люди проживают свои обычные жизни. Кто как может. Дети, семьи, престарелые родители, нажитое жите-бытье, а еще кредиты, отпуска, бары, отели, клубы, салоны, гипермаркеты. На что менять? Не было бы хуже. Пусть так.

Они ведь — тогда — хотели не этого, не об этом мечтали. Не об откатах, беспределе, обмане властей, не о том, чтобы бомжи копались в мусорных ящиках, чтобы были бедные и богатые, не о демографической катастрофе, разрушении промышленности, науки, образования, не о деградировавшей культуре, не о терактах и войне на Кавказе. Они грезили о новом, светлом мире, лучшем, чем СССР. А он не наступил. Только расхватали то, прежнее, поделили и людей поделили — кто чернь, быдло, кто элита. Кто мусор, кто золотой миллиард. И что теперь делать? Ждать, что и так сойдет? Или каждый пусть выгребается поодиночке?

— Это все эксперимент! Ничего не закончилось ни в семнадцатом, ни в девяносто первом. По сути дела, в России в последние несколько лет проведен социальный эксперимент невиданного масштаба, как в 1917 году.

Суть его — вовсе не в зомбировании телепропагандой и прочих интеллигентских мифах.

Суть его заключается в том, что взято все сумбурно-безумное содержимое головы среднестатистического жителя России (которое, к слову, мало отличается от содержимого головы среднестатистического жителя любой другой страны) и это содержимое сделано основой государственной политики. Как внутренней, так и внешней.

Вывод из эксперимента следует сделать лишь один: если государство хочет мирно жить на равных с другими, не будучи изгоем, в современном мире, оно должно возвести железный занавес. Между государственной политикой и содержимым головы среднестатистического гражданина этого государства.

Станным образом от этого становится лучше как политике, так и содержимому головы (а через него — и состоянию тела) гражданина.

— А еще якобы простой народ обладает каким-то сокровенным знанием и какой-то особой нравственностью. Ведь очевидное вранье!

Доля предателей, садистов, насильников и канныбалов в простом народе не меньше, а то и превышает таковую в образованном сословии: об этом говорит история войн, военных преступлений и катастроф.

Допустим, высоколобые негодяи сочиняли разные бесчеловечные теории — но живьем людей в землю закапывал все же простой народ. Где же эта «народная нравственность»? Ах, народу заморочили голову? Значит, народ просто дурак?

Ну, дурак не дурак, но глупее образованного сословия, это уж точно.

Если вдруг случится нужда, врач и инженер смогут за день превратиться в землекопа и дровосека. А вот землекоп и дровосек не смогут стать врачом и инженером. Ну, разве через пять-семь лет прилежной учебы.

Речь не о правах человека.

Права человека у всех одинаковы. Речь о другом. Почему грамотные должны ориентироваться на мнение неграмотных?

Немецко-романтический бред, я же говорю.

— Есть некоторое биологическое объяснение, которое называется отрицательный отбор. Это раздел науки, которая называется популяционная генетика. Определенные группы людей пострадали за время советской власти. Их потомство тоже пострадало. Более того, многие дети уничтоженных властью людей тоже не выжили, а некоторое количество детей этих людей с определенным генотипом не родилось. Это генетическое объяснение. И оно отчасти объясняет особенности современной демографии. Кроме прочего, существует и влияние внешней среды, которая дает преимущества людям с повышенной агрессией. Вспомним эпизод, с которого мы начали этот разговор, — я про зеленку. Я могу допустить, что наиболее конкурентоспособные дети отправятся получать образование за границу, по грантам или усилиями родителей, и останутся

в Чехии или в Англии, в Корее или в Швейцарии (во всех этих странах я встречала много молодых русских специалистов), а эти, что зеленкой бросаются, останутся на родине. Это и есть настоящая беда для страны. А не цены на нефть.

Летит снег. Летит из века в век. Летит успокоительно. Белая корпия на раны. Все заживет до весны.

Страна моя, засыпанная снегом, водой уснувшей, ледяной, и время здесь, словно пойманное, замороженное. Снег — душа твоя, спящая, чистая, нежная душа.

Из поколения в поколение живем среди замерзшей воды, среди кристалликов льда. Чувство снега у нас в крови — и этот скрип под ногами, и капустно-морозная свежесть, и следы на нетронutom белом, и шестилучная на варежке, и пятнышко от теплого дыхания на холодном стекле...

С Кати они разговаривали по скайпу несколько раз в год. Разговоры были, в общем-то, похожи один на другой.

Как ты? Нормально. Работаю. И я работаю. Не замужем? Есть кто-то на горизонте? Делились забавными — а были ли они таковыми? — историями. Родители решили тайно сосватать Кати к одному знакомому, все устроили, позвали на день рождения, она не пошла. С Аглаей флиртовал очередной студент, записки писал прямо на лекции. И все в таком же духе. Как Миша? Егор? Кирилл? Беата? Обменивались весточками о друзьях, обещали друг другу увидеться. Непременно, в следующем году уж точно.

Кати, автор двух диссертаций в совершенно разных областях — она была разносторонним человеком, — после возвращения на родину ушла из науки: нужно было зарабатывать деньги. Коллектив был неплохой, платили достаточно — она взяла в ипотеку однушку. После отъезда ее младшего брата с женой на заработки в Америку — по туристической визе, но как-то они там приспособились трудиться и добывать доллары — на нее легли еще заботы о племянниках. «А помнишь N? Он не писал тебе?» — «Не писал...» Московский великовозрастный мальчик, талантливый аспирант, Кати тогда думала, что у них что-то получится. Но он то ли струсил, то ли привык жить с мамой и побоялся все изменить. Перед ее отъездом он промолчал. Больше не было ни писем, ни звонков. Так бывает.

— Егорчик, хороший наш, как же так... Ты передавай ему привет от меня, я скучаю. Я по всем вам очень скучаю. И давай там — не вешай нос, я приеду к тебе на свадьбу.

— Нет, это я к тебе.

«Так, пожалуй, мы никогда не увидимся», — бесстрастно подумала Аглая, разглядывая свое отражение в погасшем мониторе.

Три женщины в двухкомнатной тесной квартире. Слава богу, у Аглаи есть свой угол. Комнатенка, где можно укрыться от разговоров, всегда одних и тех же. Мать и бабушка напоминают мойр. Плетут слова, не умолкая, одно к одному, бабушка прядет шерсть, и что там выходит из-под ее рук — кажется, нить жизни. Участь, судьба, предопределение, на роду написано. А ее род особый: все женщины в нем несчастны, живут одиноко, без мужчин. Судьба не сложилась, а может быть, рок. «Или характер», — думает Аглая, слушая, как за стеной начинают негромко, печально петь. «Ну, точно — мойры».

Ее называли старинным именем в честь прапрабабки — у той, говорят, все хорошо было, и любимый муж, и дети. Свежо предание. Что может быть известно о позапрошловекском чужом счастье? Придумали, чтоб утешиться. И ее утешить. Мать бабушки молодого мужа потеряла на войне. Девочку растила одна. Баба Валя дважды

побывала замужем — не сложилось. У матери вот тоже. Все надежды на Аглаю. А она не оправдывает. Они все говорят за стеной, о женской доле, о том, что приличных-то теперь не найти, а вот у этой-то, как ее, бросил он ведь с ребенком, а тот — пьет и пьет, за ухо льет. А того посадили, тот алименты не платит, двое детей, перебиваются. У соседа любовница, видела? Жена и не знает или что, прощает? Вот нравы-то! Куда мир катится. И вообще мужиков сейчас меньше, вымирают. Нашей-то, нашей век одной вековать. Бедная девочка. Участь, видно, такая. Они оплетают ее сетью слов, и уже не вырваться. Наверное, и правда, одной.

Аглая лежит в темноте, не в силах зажечь лампу, а надо готовиться к завтрашней лекции, завтра она все четко расскажет о мироустройстве, о том, что нет никакого предопределения, что есть выбор и что там еще? Свобода?

Она встает, идет на кухню, включает чайник. В зале умолкают, и она знает, что две женщины многозначительно переглядываются, не отрывая рук от пряжи и нитей. Потом затягивают заунывный романс. За окном падает снег.

Она не любила свое имя. И зачем так назвали. Аглая — гладкое слово, похожее на кожуру, коричневую, лакированную, неведомого растения. Раз, откроется — и появится оттуда другая, настоящая, счастливая. А пока живи так — Аглаей, под скорлупой.

По ошибке называли ее и Аллой, и Алей. Глаша тоже раздражала. «Глаша — манная каша».

Когда-то была наивной и приводила в дом ухажеров. Да нет, мальчиков, которые нравились, друзей, которые могли бы стать кем-то больше. Женщины принимались хлопотать, выставляли на стол старинный сервиз, варенье в блюдах, рассыпчатое печенье, кружились вокруг, вели учтивые разговоры, задавали вопросы, переглядывались, услышав ответы. А после ухода гостей, рассматривая чайники в белых роскошных чашках, начинали неспешную беседу. Не то, все было не то. Этот некрасив — зорко подмечали все недостатки, тот — глуп, другой не воспитан. Аглая шла спать, а их голоса звучали в темноте, и что-то таяло в сердце и утекало холодной водой в черноту ночи.

Не сразу поняла — хорошего не будет. Все верила — ищут для своей Аглаюшки самого лучшего. Потом дошло. Играют. Это открытие окончательно лишило ее чего-то важного. Близкие люди могут обманывать, притворяться. Прикрываться благом.

Все-таки поняла и пожалела. Только больше не звала никого.

Голубой огонек, превратившийся в голубой костерок, в котором сгорают невинные души или, наоборот, у которого греются днями и вечерами? Вот такие же московские дворики, такие же бабушки, а как у них? а у нас ведь еще ничего! поживем! И Хулио, обязательно Хулио, у которого неприятности, и пара внебрачных детей, и любовница, и проблемы в компании, и безответная любовь. Большие семьи, снующие всюду родственники, разговоры на кухне, в стерильных красивых спальнях и гостиных. Чужие люди, которые вдруг становятся родными... В душу не лезут, и всегда можно выключить, если надоели. У Тимофеевны есть русская семья на первом, с несчастной Танечкой, попавшей в переплет. «Слушай, ну этот Сергей, ну как он так мог?» — сокрушается баба Шура. «Жену в тюрьму — куда это годится!», нескончаемый Татьянин день все равно скоро завершится. Все поженятся и будут жить в большом загородном доме, с детьми ото всех браков, с тещами и свекровями. Зрители утрут слезы, уберут сердечные капли. Раздрай и энтропия прекратятся по мановению волшебной палочки сценаристов. До следующей Танечки или Верочки.

Начинаются новости, приходит Семеновна, сначала смотрит молча, потом начинает комментировать:

— Просрали страну, просрали.

— Маша...

— Ты, Шура, никогда в политике ниче не понимала.

— Гондоны сраные, что рот, что жопа. Матерей обворовывали — не чужих, ..ля, так что можно, старух несчастных, дедов, что им землю, с которой они деньги стригут, кровью своей поливали. Ненасытные, жрут и жрут, ни стыда, ни совести. И не колбаску, и не водочку жрут своими пастями. Счастье, свободу, волю, будущее, жизни нынешних и новых поколений хавают. Где они были, когда надо было воевать и строить, сеять? Где, ..ля? И где они сейчас? И те, другие — молчали, не выпалились.

— Маша, ну не ругайся, слова-то какие...

— Не твоя вина, что сидишь, из дому не выходишь, не видишь ничего, кроме ящика своего. А я у Нинки была, у Луизки была, у Катки. Подошли деревни-то. И главное, этим ничего не жалко — ни труда, ни жизни, ни могил. Только все чужое у них — чужие портки, чужие часы, чужие зубы и яхты — у нас все украдено. Потом не надо удивляться, если кишки пустят. И ведь не жалко будет. Мне — нет. Жалко — у пчелки в попке. А упыри, которые сегодня жируют, должны знать: бежать некуда, и для них здесь все рано или поздно закончится. Ты, Шурка, душевная, еще пожалеешь. Заблещешь, как всегда, о милосердии, о прощении. Мой отец был человек простой, и он мне сказал: «Запомни, терпение — не добродетель, не терпи унижения, несправедливости, лжи. Никогда». Была б моя воля... Но не моя... Странно, живут и верят, что расплаты не будет. А ведь было это однажды, видели.

Что она могла видеть-то? Не в семнадцатом же? Сколько ей лет вообще? Аглая украдкой взгляделась в ее морщинистое лицо. Инфернальная старуха, исходящая какой-то потусторонней, древней ненавистью, что спит до поры до времени глубоко под землей, а потом вырывается и не жалеет никого. В чем сила, брат? В правде.

Неумирающие старухи, из века в век присматривающие за очагом, от которого греемся все мы. Из искры возгорится пламя. Сумасшедшие или юродивые?

— Ладно, Поздно уже. Спать пойду. Завтра на рынок побегу, что купить тебе, Шурка? Пряников?

— Не хочется, Маша, ничего.

— Как только ничего не будешь хотеть, Шурка, так сразу и помрешь. Точно говорю. Соглашайся на пряники.

Около полуночи дом похож на большое, уставшее животное, едва слышно его размеренное дыхание. Кажется, он спит. Только в трубах-сосудах, нервах-коммуникациях продолжается тихая жизнь: гудение, постукивание, шум воды. Аглая сидит при свете лампы, дочитывает статью про причины экономического кризиса. За окном горят уже привычные огни ограды Бутырской тюрьмы. Вдруг слышится странный звук, такой плачущий, гулкий, страдающий: «Иу-флюп-флюп-флюп». Послышалось? «Иу-флюп-флюп-флюп», — звук может принадлежать маленькому морскому животному, случайно попавшему в водопровод. Например, какому-нибудь несчастному морскому коту или львенку. Надо скорее его спасти! Напоить молоком (хм, молока-то нет), ну, тогда свежими фруктами (как? и фруктов нет?), ну, тогда дать батон (как? и батон тоже?!). Ну, ладно, нужно просто ему помочь. «Иу-флюп-флюп-флюп». Вода просачивается сквозь до конца не вытащенную пробку в ванне и издает странный, живой звук. Только нет никого. И некого спасать. Аглая вытаскивает пробку. Вода, закручиваясь воронкой, утекает в небытие.

— Посмотрите, кто вы? На что годитесь? Не работать, но зарабатывать. Под пальмой загорать — так, милая? А теперь смотри сюда — видишь, какие руки у бабы Мани? Руки рабочего человека, некрасивые, да? Знаете вы, нахальное молодое хамье, как мы жили? Трудились от зари до зари. Мать меня раньше срока родила, как и двух других. Те умерли, а меня выходила. Прятала меня в отцову рукавицу и грела в печурке, чтоб не околела. Не трудиться — все равно что не жить. Теперь смеетесь. Все смешно вам — что строили, что воевали, что хлеб с лебедой ели. Если так смешно, то не трогайте чужой труд, не продавайте его, живите своим. Только что-то я гляжу — не выходит.

— Что ты напустилась, ей-богу, как с цепи сорвалась? Аглая-то тут при чем?

— Может, и ни при чем. Девка не последняя, детей учит. Как вы будете жить без нас?

— Хорошо будут, Маша. Работать, любить, детей рожать. Преодолевать трудности. Жизнь не кончается. Дай Бог, мы и свою прожили не напрасно.

— То-то и оно, что жизнь в ...опу. Сдохнуть надо было в восемьдесят пятом и не видеть всего этого.

— Все равно ничего не изменить.

— Коростылева помнишь, из соседнего дома?

— Ну? Помер, что ли?

— Ордена у него украли вчера. Соцработники. Инфаркт. Ну, бывай, Шурка.

Она придумывает себе путь — чтобы уйти от темного и печального дома, который, словно потемкинская декорация, скрывает тюрьму от приличных глаз. Покорно идет по Палихе — прямо, как и ведет дорога, дальше сворачивает на улицу Достоевского, тихую, почти без машин, с дребезжащим трамваем. Казалось, шагаешь по ней в безвременье. Вот корпуса Мариинской больницы, флигель, где на первом этаже занимала две комнаты семья лекаря Достоевского, там потом четырнадцать лет прожил сам писатель. Сейчас здесь музей. На окнах цветы, кружевные занавески.

А может быть, он там? Сидит, пишет, изредка выглядывает в нынешнюю действительность, убеждается, что люди мало изменились, и вновь закрывается у себя в кабинете. Десятнадцатый век vs двадцать первый. Но ведь вроде выигрываем, движемся куда-то вперед?

Трамвайные рельсы уходят в переулок Достоевского. А потом, может быть, в проезд Достоевского, а далее — не исключено, что в тупик Достоевского. Писатель, который запрограммировал русскую жизнь. Нынче вон жалуются — он был больной, ишь депрессухи какой насочинял. Виноват в изводе русской жизни, нет бы что повеселее, попроще — мы бы тогда жили легко и счастливо. Дрогнула занавеска, будто кто-то решил, таясь, посмотреть из окна. Но нет, показалось — там по-прежнему никого нет.

Улица заканчивается огромной пятиконечной звездой — театром Советской армии. Монументальный, на века, как все советское. Через дорогу, в таком же стиле, портик, колонны — военный музей. Аглая берет правее, за оградой остаются самолеты и пушки, осыпаемые золотистой листвой. А вот и вход в Екатерининский парк. Сладострастный запах тления и угасания, истлевания растительной плоти. «Смертью смерть поправ», — всплывает в голове, но здесь и сейчас ее не победить.

В пруду плавают утки, похожие на апельсины, у них есть какое-то правильное название, да-да, огарь. Гори, гори ясно, чтобы не погасло.

А район здесь хороший, есть все, что нужно — церковь и бывший монастырь, тюрьма, университет, издательство и редакции журналов, прокуратура, Достоевский. Если

вырезать аккуратно и перенести это все на необитаемый остров, оно также благополучно функционировало бы как модель русской жизни.

Вот Егор выйдет, и мы будем вместе гулять. Егор, Егор... А может, он тоже превратился в чужого человека? Ведь все это время не писал и не звонил. Но и она тоже молчала. Не хотела возвращаться в прошлое. Думать об упущенных возможностях. Ведь если бы тогда осталась — жизнь могла бы пойти совсем по-другому, правда? И она завидовала тем, кто остался — кто смог вцепиться в московское бытие. Почему-то казалось, у них тут сохранилось что-то настоящее, сокровенное. А все исчезло, развалилось. Может, и это боялась узнать: ничто не вечно на земле, дружба, любовь, все истлевает, как эта листва.

Они стали чужими, и вот уже паузы, когда не о чем говорить, и все, осознавая это, старательно выдавливают из себя темы для разговора, копаются в прошлом, сдерживаясь, чтобы не чихнуть от пыли. Ведь на прошлое у них аллергия, никому не нужно это прошлое. Никому. Необходимость свела их, а не духовное единство. Жизнь сталкивает, играет, глядит, что получится. Социальная химия, молекулярная социология. И те, кто делился друг с другом последним куском хлеба, потом не смотрят друг другу в глаза.

Сначала ты сокрушаешься, не в силах поверить, а затем делаешь единственно возможное: принимаешь свободу другого быть отдельно. Не желать. Не помнить. Молчать и уходить.

Остановилась и протянула руку: холодна ли в ручье вода? Холодна.

Они были провинциалами, еще не растратившими уютное тепло своей провинциальной жизни. Они привезли в Москву воспоминания о маленьких улочках и бабушкиных перинах с кружевными подушками, о палисадниках под окнами стареньких домов, об утрах с мамиными блинчиками и солнечной полосой на кухонном полу — можно было стоять на ней босиком, словно в теплом море. И где-то краем уха они еще слышали — казалось совсем рядом, несмотря на годы, и строгое «Домой» из форточки, и чертыханье Павлика из второго подъезда, опять пропустившего гол, и надоедливые гаммы, что разыгрывала Светка этажом выше. Соседские бабушки — еще живые и веселые — угощали пирогами или ягодой с дачи, присматривали за каждым, по-свойски ругали за проделки. По выходным с утра какой-нибудь дядя Коля выносил цветастый ковер, вешал его на турник и методично принимался выхлопывать. И эти пульсирующие удары в пустом дворе вдруг оказывались символом биения простой человеческой жизни, со всеми ее мелочами и заботами. Кто-то настойчиво утверждал: мы живы, и жизнь идет. Где ты сейчас, дядя Коля?..

Они еще ездили в метро со светлыми, вдохновленными лицами, радовались большому городу, с нездешней наивностью и открытыми сердцами тянулись к другим людям, Бездомные, они тем ярче ощущали в себе чувство дома и готовы были поделиться им с другими.

Миша был из хорошей московской семьи, получил образование в Плешке, работал финансовым директором в серьезной компании. Утром он уходил в офис, в шикарной сиреневой или оливковой рубашке модного бренда, отглаженном костюме за пятьсот долларов, в галстук за двести, благоухая дорогим запоминающимся парфюмом. Глядя на него, нельзя было и заподозрить, что у него внутри этот странный лед, когда невозможно выносить холод города, и ему нужно где-то погреться, чтобы не замерзнуть совсем. Уже потом Аглая поняла, что у многих таких — излучающих благополучие — внутри лед, губящий их самих и людей вокруг.

Вечером Миша возвращался, похожий на загулявшего (если такое вообще возможно) Санта-Клауса: в огромных пакетах звенели бутылки. Между ними болталась закуска — из овощей следовало сделать салат, мясо кинуть на сковородку, рыбу и колбасу порезать.

— Почему они могут быть святыми, а ты — нет? Рождаются они, что ли, такими? Вот батюшка пашет день и ночь, денег никогда нет, а если и есть — то одному жертвует, то другому, то лекарства нужны, то храм восстанавливать. А у самого семейств. Но все равно — себе ничего не возьмет, все — Богу. И откуда это в нем, а в тебе нет? Заглянешь — ну нету, черт тебя подери. И хоть извернись, не найдешь. Лучше тогда и не искать. Жить, как живется.

Он говорил: «Господи, помилуй!» — и, едва не перекрестившись, с наслаждением пил большими глотками пенящееся пиво, закусывал эскалопом — только что с огня, снаружи корочка, изнутри брызжет сок, хрустел маринованным чесноком, подливал в бокалы, следя, чтобы у остальных не было пусто. Пьянел, начинал читать стихи, философствовать о жизни. Да, он выглядел именно как Санта-Клаус в состоянии экзистенциального кризиса.

Утром звенел будильник, а Миша все не вставал. Уже начинал разрываться телефон, и после энного количества сброшенных звонков он вдруг совершенно трезвым, уверенным голосом говорил кому-то на том конце: «Да, немного опаздываю. В пробке я. Скоро буду. Ну, перенесите встречу, ничего страшного». Наскоро принимал душ, преображался в директора и уезжал.

Никто особо не знал, чем Миша занимался на своей работе, но вечером он неизменно возвращался с гремящим пакетом. Каждый день должен был заканчиваться праздником, локальным новым годом. Санта-Клаус день за днем разгонял экзистенциальную тоску, и было непонятно, когда же он наконец ее разгонит. Было подозрение, что никогда.

Они оказались в этой трехкомнатной квартире на Первомайке как будто случайно. Ее снял Егор в надежде найти компаньонов: одному тянуть было слишком дорого. Он и сначала искал однушку или на худой конец двушку, но ничего подходящего не находилось. Как вдруг позвонил знакомый: у его подруги умерла тетя, наследница готова была сдать квартиру, если духовник даст благословение — сорока дней еще не прошло. Недалеко от метро, и цена хорошая, только нужно там все прибрать.

Они выносили вещи — свидетелей целой жизни, эпохи, и она была советской — с часами «Энергия» и характерными статуэтками: пластиковой ракетой, устремленной в космос, фарфоровым олимпийским мишкой, металлическим Чапаем, сувенирами из поездок и конференций — «Свердловску 250», синий силуэт Ленинграда и красный — Авроры, с мощным потускневшим хрусталем в серванте, с ценниками, символами стабильности — повернешь какую-нибудь штуку, а там — «руб.» и «коп.», с полированными книжными полками, на которых в ряд — знакомые собрания сочинений, с репродукциями Серова и Репина на стенах, с кухонными шкафами, заполненными под завязку мылом, спичками, солью, крупой, мукой — хозяйка квартиры все знала о своей родине и ко всему была готова. Они выносили лекарства, соленья с неизвестным сроком годности, чистое, но старое постельное белье, и когда возвращались на помойку в следующий раз — уже ничего не было. Кто-то расхищал останки быта и бытия, и они растворялись без следа в сумерках. Но ничего поделать было нельзя — следовало освободить место для новой жизни. Неизвестная Александра Семеновна

с каждым унесенным пакетом, полным мелочей, банок, свертков, коробочек — всем тем, что покупала, любила и хранила долгие годы, исчезала навсегда.

Остался лишь фикус с большими кожистыми листьями, слоистый белый налет на ободке его глиняного горшка напоминал о меловом периоде мезозойской эры. Колкое древнее алоэ кренилось на подоконнике. Перед кроватью на табуретке среди склянок с лекарствами и пухлой ваты еще лежал скукожившийся его листок. Ни от чего он не помог. Его можно было выдерживать в темноте и холоде для усиления лечебных свойств, только все было зря.

Человек неизлечим с самого рождения. Конечен.

И после тебя просто выметут сор из избы...

Кириллу пришлось съехать с квартиры — жилье продавали, продавали и наконец продали. Тех, кто снимал, попросили на выход. Это была знакомая московская бесприютность. Ты никогда не знал, в какой день и час тебя выгонят на улицу даже самые адекватные хозяева. И по какой причине. А может быть, повысят цену и сделают ее неподъемной. Договоров не заключали, никто не хотел платить налоги с аренды. Если жилец ерепенился, всегда мог прийти участковый и начать выяснять, в чем дело и на каких основаниях вы, мой милый, находитесь здесь, в столице нашей Родины, без регистрации. Ах, не делают вам хозяева? Ах, какие нехорошие! А за это знаете, что полагается? Вам, вам, не им!

Это был город, враждебный чужакам и слабакам. Надо было выживать или уезжать.

Еще недавно в подвалах домов лежал гексоген, а москвичи вечерами организовывали собрания жильцов и патрулировали свои дворы. Утром можно было проснуться на развалинах. Если вообще проснуться. В городе царила истерия: «Блин, я вообще не понимаю, как ты решилась! У тебя с головой того! Точно! — Вероника везла ее с вокзала и нервно стряхивала пепел в открытое окно. — Какая диссертация! Ты не представляешь, что тут творится». Аглая не представляла. «Эти черно...опые нам устроили! Они! Понаехали! Их всех обратно надо, выселить к чертовой матери!» Аглая вспомнила, как на следующий день зашла в вагон метро, и рядом оказалась сумка — большая, темная дорожная сумка. Хозяина не было видно. Может, тот, в серой шапочке? Или тот, в черном капюшоне? Бородатый? Женщина в черном пальто? Аглая гипнотизировала вещь взглядом и думала: взорвется или не взорвется. От нее самой не осталось бы ничего. Может, только голова? «Ну, ты даешь? А выйти?» Конечно, она потом вышла, на следующей станции, со странным, колющим ощущением внутри.

Хорошо, что дома больше не взрывали.

Кирилл — далекая комета (друг друзей каких-то друзей Егора) по странной траектории залетел в эту маленькую галактику с сизым алоэ на подоконнике. Ситуация была плачевной — ни жилья, ни работы, ни денег (последние уплачены за съем квартиры, и владельцы их не вернули). У Кирилла было украинское гражданство, что несколько усложняло трудоустройство. Надо было как-то перекантоваться хотя бы неделю-другую. Егор дал добро. И денег на первое время. Но Кирилл потом так и не уехал. С работой не клеилось, значит, снять что-то другое не было возможности. Он то депрессовал, составляя компанию Мише, то ходил на какие-то собеседования. Отдавал последние деньги за липовую регистрацию, которую в итоге не делали. Ему было стыдно перед матерью — он обещал ей высылать переводы и послал только один раз — заняв деньги у Егора. А она исправно передавала посылочки с гостинцами: са-

ло, масло, домашняя колбаса, пирожки. Сын должен был продержаться, устроиться. И в то же время ему — гуманитарию, выпускнику университета, аспиранту — было стыдно идти раздавать листовки, делать гамбургеры в «Макдональдсе». «Ты не понимаешь, пойдешь туда — и уже не выберешься, сидеть будешь в этой яме, ну до менеджера паршивого дослужишься, и что дальше? В Сан-Франциско тебя, что ли, переведут? Надо искать что-то приличное, с перспективой». И вечером они вместе с перспективным финансовым директором надирались, обсуждая аспекты несправедливого устройства мира.

На сентябрьских выходных мать Егора позвала их в деревню, копать картошку. Все переживала, как они там в городе. Как им получше устроиться, на чем сэкономить.

— Сколько поработаете, себе заберете. Будет картошка — с голоду не умрете.

Они все были городские и копать умаялись. Сначала подбадривали друг друга, смеялись. Потом уже было не до смеха. Забирать их в воскресенье приехал Миша, хмурый, невыспавшийся.

— Здравствуйте всем! Ну, что? Кидайте мешки, да поедем! Дел сегодня по горло. — Он вытащил сигарету и осмотрел всех мутным взглядом. Потом поглядел на стол. Там стояли соленые грибы, малосольные огурчики, лежало сало. На плите в большой чугунной сковороде жарилась картошка с грибами. Миша повел носом, взял с тарелки огурец.

— Это малосольные, что ли? С чесночком! — Довольно захрустел. — А я смотрю, неплохо вы тут обжились. Что, может, пообедаем? А поедем потом?

— Конечно, Миша, надо пообедать. Картошечка скоро будет готова. Присаживайся. Но он не стал садиться, буркнул «сейчас» и ушел на улицу.

Вернулся с бутылкой.

— Миша, может, не стоит?

— Ну, вечером поедем, Глаш. Не переживай. За хозяйку надо выпить и вообще. Вот урожай собрали, как не отметить? Все будет хорошо, — Он скинул пальто, засучил рукава свитера.

— Ну что, кто мне компанию составит? Что смурные-то все такие? — он ливанул водку в первую попавшуюся кружку. — Ну вас в баню! Вера Александровна, мое почтение! Будьте здоровы, живите богато, а мы уезжаем до дома, до хаты. Хотя, конечно, пока никуда не уезжаем, а закусываем, — он снова захрустел огурцом, подцепил на вилку сало. — Нет, вот деревня — это хорошо! Деревня — это святая Русь. А что город? Суета сует. Грехи наши тяжкие.

Вернулся Кирилл, молча поставил стакан. Накатили уже вдвоем.

— Ребята, вы там не налегайте все-таки.

— А мы завтра поедем! Засветло встанем и рванем.

Миша уже раздобыл и откалывал шутки, и все расслабились, и усталость прежних дней, когда возились на сотках, ушла. Они тогда тепло посидели, одной семьей, горела лампа, пели песни — и почему-то это было «Браво», от «Бросайте, девочки, домашних мальчиков», «Если бы на Марсе были города» до «Васи, кто его не знает».

Уезжали ранним утром. Мешки погрузили во внедорожник, уселись сами, готовясь к укачивающей дреме. Миша, выливший на себя ведро ледяной воды из колодца, был мрачен, но бодр. Над полем стелился туман, Мать Егора провожала их, стоя у калитки, в рабочей куртке, сапогах, из-под темной косынки виднелась прядь рыжих волос. Махала вслед. Все они были ее детьми, которых надо накормить и обогреть. Счастливой дороги вам, девочки и мальчики.

Миша тогда пообещал ей перевезти картошку и яблоки в Рязань, но быстро забыл об этом.

А Егор однажды вернулся домой не один — с девушкой.

— Это Беата. Художник, дизайнер. Из Даугавпилса.

Она была не из Даугавпилса — она была с другой планеты. Светлые, почти белые, короткие волосы, большие синие глаза, никакой косметики — этому идеальному лицу с правильными, тонкими чертами она была не нужна. Говорила с едва заметным акцентом, и это тоже был признак нездешности. Она рассказывала абсолютно сумасшедшие истории — как они с друзьями разрисовывали стены граффити с советской символикой: «И еще надпись такую придумали, с определенного расстояния там можно было прочитать „Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить“. А выглядело все как орнамент». Но их стали разыскивать, и пришлось росписи прекратить. А на одной из выставок чуть не затопили музей: «Я все думала, как воплотить идею свободы. Через движение? Ветер? Или преграду — камень? А потом появилась идея с водой. Но Витя не туда шланг прикрутил... В общем, пришлось возмещать ущерб». «Была еще как-то акция против глобализации. Самое смешное, купили помидоры, а они плотные такие, как мячики, и не разбиваются — все по европейским стандартам».

И они все смотрели на нее и не могли поверить, что она — вот такая классная, взявшаяся из ниоткуда, с вернисажами, акциями, премиями — сидит у них на старой, ободранной кухне.

Потом они переглянулись с Егором, он сказал: «Мы, наверное, пойдем», и ушли под первый снегопад. Уже на следующий день он привез ее вещи, а на полочке в ванной появилась новая зубная щетка. Теперь их маленькая коммуна, кажется, была укомплектована безумцами всех мастей.

Сбившаяся в кучку гуманитарная интеллигенция, не знающая, как выгодно продать себя на рынке труда. Гадкие утята, вылупившиеся из скорлупы университетов и ожидающие превращения в прекрасных лебедей. Дети страны, которая останется только на картах, в свидетельствах о рождении и воспоминаниях.

— Дерьмо, дерьмо был этот ваш СССР. И правильно, что развалился. Ненавижу.

— Сам ты дерьмо.

— А это нормально, что теперь в каждую республику нужны визы? И это в то время как Европа объединяется.

— Мой отец вообще не гражданин. Это какое-то средневековье. В центре Европы в двадцать первом веке человек, который там прожил всю жизнь, — не гражданин. Мерзко!

— Зато можно ездить теперь куда угодно!

— Только не у всех деньги есть для этого. А восемьдесят шесть процентов населения не имеют загранпаспортов, например.

— Какая интересная цифра, где-то я ее уже слышал.

— Не забудь про колбасу.

— Колбасу? А про репрессии не хочешь?

— Да что вы все можете знать о том времени, вы же были несмышленными детьми!

То время было словно вата — такая, как мягкая борода у деда-мороза, висевшего на елке, или бабушкиного одеяла, разделенного строчкой на пухлые квадраты, или ватки с коричневой точкой во врачебном кабинете.

— Девочка, прижми и держи.

А сколько ее держать? И убрать страшно — вдруг там не крохотная дырочка, а огромная дыра, откуда фонтаном кровь? Ходит и боится заглянуть. Потом ватку убрали.

Ее детство — это синие ледяные утра. Протяни руку — колготки с батареи, заблаговременно повешенные туда матерью с вечера. Единственное тепло, когда выбираешь-

ся из-под одеяла после трезвонящего будильника. Новый день всегда рождается из яйца — на сковородке или в бурлящей воде алюминиевой кастрюльки. Мать подгоняет: давай, давай. Сквозь сугробы на санках в садик, сквозь темно-синюю тьму и страх, что мать отпустит веревку и она, Аглая, останется одна среди холода и льда — она слышала в садике, так забыли кого-то. И неизвестно, было ли это правдой, или дети пугали друг друга. Как пугали гномиками под кроватью, черными человечками, страшными звонками.

— Маам, где мой галстук? Галстук! Ну, же!

— Без понятия, вечно ты все разбрасываешь!

— Я не могу так пойти на уроки!

И она не идет, сидит на качелях во дворе, почти не раскачиваясь, иначе скрип на всю округу. А галстук потом находят вечером под письменным столом, скользнул незаметно.

Повезет ли она сама когда-нибудь маленького человечка сквозь сугробы по синей тьме? Так страшно не вывезти...

— Тихонова! Двадцать отжиманий. Готова?

— Готова.

— Что ты блеешь? Ты же пионерка! Уверенней. Поехали. Ковалев, считай!

Тело предательски обессиливает.

— Ну, ну, Тихонова! Ну! Как ты рожать-то будешь? Фролова, следующая!

Как ты будешь, Тихонова? Как ты вообще будешь?

Что осталось от родины? Приметы быта — да и они уже на антресолях памяти, там же, где детская мифология и пресловутые советские типажи. Но все это было у каждого. И по кускам матрицы, по паролям и тайным знакам они еще могли узнавать друг друга — детей Советского Союза, живших в разных его частях. Цемент большой страны был крепок. Мама мыла раму, Ленин жил, жив и будет жить, газировка за три копейки с сиропом, ускорение, гласность, перестройка, ваш класс собрал больше всего макулатуры и награждается почетной грамотой.

Мальчики взрывают стружку из магния, девочки прыгают в резиночки. Это потом уже скажут: советское детство — несчастенькие. А что у этих — счастливое?

Матери вкалывают на айфоны, боятся выглядеть бедными. Дети рождаются в брендовых ползунках и дальше так и ползут по жизни, не изменяя марке. Из крутой коляски в крутой автомобиль. А у кого-то — ничего. И все привыкли к несправедливости.

Потому что завидовать некрасиво! Нужно просто больше работать. Не можешь заработать дома — уезжай. Не можешь работать учителем или врачом — иди в бизнес. Будь энергичней, в конце концов.

И Аглая не знает, чем пойдут торговать философы, которых она учит.

Трубил горнист, вились красные флаги, читались речевки. Кому вы все это обещали: готов? Всегда готов!

Она вглядывалась в маленькую девочку с поднятой рукой (прямая ладонь, Тихонова, прямая). Нет, она-то уж точно никому ничего не обещала.

— Да они, б..., изнасиловали все, во что мы верили, что было для нас святым. И я не о дедушке Ленине или партии. Они человека в грязь втоптали, лишили человеческого достоинства. Я помню эти чертовы девьяности, серые и убогие, без денег и без на-

дежды. Когда люди убивались, вешались, кололись, их убивали. За бизнес, квартиру, пенсию, газетную статью, дозу. И я никому это время не прощу. Мы не мусор. Пятнадцать миллионов погибших — не мусор.

— Егор, все это так. Но любые перемены не обходятся без жертв. Так было в революции, в Гражданскую, в девяностые. Все меняется, ход истории не остановить. Эти люди просто не приспособились! И сейчас наша задача — не о прошлом слезы лить, а встроиться в новый экономический уклад. Согласен, он другой. И он лучше.

— Не, Кир, подожди. Что значит встроиться? Если тебя затащили в бордель, надо что, б... стать? Или все-таки бороться?

— Слушай, ну что ты такой упоротый! Ну не вернется твой Союз, надо жить с тем, что есть.

— Не вернется. Потому что мы все, мы предали свою Родину. Только кто предал один раз — предаст и второй. И если в России начнется то же самое, что в СССР — мол, каждой области — суверенитет, или давайте отдадим Сибирь и Дальний Восток китайцам, так лучше, центр не тянет, то сначала все повозмущаются, а потом? Потом будет так же — смирятся. Была некая Россия — стала Московия.

— Ты ставишь слишком глобальные вопросы. А надо ставить насущные. Делать бизнес, зарабатывать деньги. Деньги, понимаешь? Есть деньги — есть все. Свобода, авторитет, возможности. Все в твоих руках.

— Я не продаюсь.

— Может, потому что продавать нечего?

В комнате повисла тишина.

— Ребята, вы что, не надо так...

Но Егор уже вышел, хлопнув дверью.

Нет, про себя Аглая точно знала, что ничего она не заработает, и уже не переживала по этому поводу. Она была человеком науки, типичным ботаником. Хотя Ильичев, коллега по кафедре, объяснял ей что-то про новомодные гранты, в том числе зарубежные, и надо было бы собрать бумаги, куда-то их подать, получить средства, поехать, исследовать, писать — и в науке имелись возможности подсуесться. Только она была человеком другого склада. Лузером, следуя классификации Кирилла? Может быть.

Ссоры тогда еще забывались, и жизнь их совместная, простая и незамысловатая, катилась дальше.

Вспомнилось Рождество, когда в безлюдном парке снежинки вверх летели, а они все пели, пели, пели. Нет, это было не на Рождество, а в какой-то из дней после Нового года. Когда были уже съедены все салаты, допиты водка и вино, под свет свечей высказана вся печаль. Шумной гурьбой ушли в Измайловский парк, валялись в снегу, играли в снежки, делали снежных ангелов. Под фонарями искристо клубилась пыльца. И она правда улетала в вышину, к звездам, под песни юности, «видели ночь, гуляли всю ночь, до утра», и слушали их только деревья (и, может быть, кто-то там наверху).

Что загадать, когда все так близко? Вселенская тишина начала года, когда еще ничего не свершилось, не развернулись из тайного свитка события, когда небо склонилось к твоему лицу, как будто хочет услышать главное?

В памяти возник тот зимний день, когда она шла по Арбату, опять дела, но не хотелось торопиться и вливаться в поток бегущих. Шагала неспешно, подставляя лицо солнцу. И вдруг почувствовала, как внутри качнулся маятник. Она могла бы позволить, могла. Любить Егора такой любовью, о которой мечтала, большой, настоящей.

Только... Аглая скользнула взглядом по витрине, увидела свое отражение, услышала женские голоса, как будто бы прямо надо ухом. Только никто не будет счастлив — такая судьба. Она уняла движение, маятник замер. Навсегда остался только след нежности от этой несбывшейся любви.

С Наташей они познакомились в обезьяннике — Аглая возвращалась вечером из библиотеки, и ее замели дежурившие в метро менты. Срок купленной регистрации закончился, и зря она показывала читательский билет, пытаясь что-то доказать. «Нарушаете, пройдитемте». В клетке уже сидел кавказец средних лет, а по другую сторону, напротив — белокурая худенькая девушка. «Ну что же мне с вами делать», — молодой милиционер кровожадно оглядывал свой новенький зверинец. «Отпустите нас, пожалуйста!» — у девушки был красивый хрустальный голос. Она заискивающе улыбнулась. «Ну как отпустить — нарушили же, без регистрации ходите, непонятно, чем занимаетесь. Знаете, что в городе творится?» Они попеременно, переминаясь с ноги на ногу, просили их отпустить. «Не положено». Потом сержант открыл книгу и поднял глаза: «А вот если кто мне скажет, что такое узуфрукт, тогда всех отпущу. Всех. У меня экзамен в пятницу по истории права, — он продемонстрировал толстый кирпич, — считайте, что это подсказка». Наперебой они предлагали свои версии, но их тюремщик только посмеивался. «Сидите, тупицы». «Начальник, начальник, подожди, дело есть», — вдруг оживился незаметно дремавший в углу еще один кавказец. «Ну?» — «Подойди, не при всех». Они пошептались. «Понял, не вопрос». Их выпустили через пятнадцать минут, в ночную пустынную тьму. Метро уже не работало. Кавказцы быстро куда-то убежали, а они вдвоем с хрупкой блондинкой остались посреди ночного города. «Вы, это, идите, что ли, куда — домой или к знакомым, а то опять посадят вас или изнасилуют», — дал на прощание совет напарник сержанта. И они темными переулками пошли к знакомым Наташи. Там, у заспанных хозяев, им дали коньяка и одно на двоих одеяло, чтобы укрыться на старом кухонном диване.

— Я сама из Ставрополя. Наташа меня зовут. Я певицей работаю. Не подумай ничего такого. Только певицей. Я истфак окончила и консерваторию, там, у себя. Приехала сюда зарабатывать, с земляком. Со Славиком. Он на клавишных, я вокал. Поем в ресторанах. Хотела карьеру делать, но не получается. Пока рестораны. А ты? Ты к нам приходи, на выступления. Послушаешь, как я пою, приходи!

Потом они перезванивались, и Аглая приходила слушать Наташу и Славика в ресторан Дома на набережной. Официанты гремели тарелками, Наташа в переливающимся вечернем платье пела шансон, разомлевшие от алкоголя пары, крепко прижавшись друг к другу, танцевали. Крепыш Славик вдохновенно наяривал на клавишных.

В следующий раз она никуда уже не собиралась ехать, но Наташа была настойчива: «Тебе надо развеяться!»

Тащились куда-то в Кунцево. Наташа была весела, рассказывала смешные истории.

— Знаешь, только хочу тебе предупредить, — сказала она вдруг серьезно, когда они уже вышли из автобуса на пустой остановке и затерялись среди одинаковых многоэтажек, — это кафе для блатных.

— Ты уверена, что мне стоит туда идти? — Аглая оглянулась. Не было видно ни людей, ни машин, спальный район поздним вечером. Она даже не поняла, с какой стороны они пришли. Вернуться обратно? Одной блуждать по незнакомой местности? С топографией у нее всегда было туго.

— Ну, а что такого? Они нормальные люди. Если что — Славик нас в обиду не даст. И домой он нас потом на своей «шестерке» подбросит.

— Ладно, пошли.

Нормальные люди гуляли. За большим столом собралось человек пятнадцать, пили, галдели, требовали музыки. Сновали туда-сюда официантки — крепко сбитые, густо накрашенные, в коротких юбках и белых передничках.

— Садись здесь, это столик для услуги. — Маленький стол на два места в уголке. «Да, действительно, может, отсижусь, и все закончится благополучно».

Наташа, в черном коротком платье, золотистые кудри, на шее — сверкающее кольцо, затянула нежным голосом: «Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери...» Жующие головы тотчас повернулись к ней, одобрительно закивали, кто-то хлопал, и даже крикнули «браво».

Наташа пела, Слава долбил по клавишам. Но стоило успокоиться, как тут же к Аглае подсел мужчина — невысокий, на вид щуплый, в бежевом свитерке, зеленоватые усы, реденькие волосики, нос перебит, карие глаза навывкате, на руках татуировки, на правой — золотая массивная печать.

— Добрый вечер! Петр, владелец кафе. А вы?

— Аглая, подруга певицы, — она кивнула в Наташину сторону. Та напевала «Подмосковные вечера».

— Ишь ты, какое имя редкое. Но красивое. Мне нравится. Подруга певицы, знает? Что будем заказывать? Ты не смущайся, я угощаю. Осетринка сегодня вкусная, рекомендую. А вино? Белое? Красное? Или, может быть, шампанского?

— Лучше красное. Сухое.

Он продиктовал заказ официантке. Та спешно удалилась.

— Ну, как тебе здесь? Ничего?

— Приятное место.

— Что здесь приятного? Публика та еще. — Он махнул рукой. — Каждый вечер одно и то же. Тоска. Тебя, кстати, не напрягает, что бывшие ээки тут?

— Не напрягает. Наташа сказала, хорошие люди.

— Наташа сказала... — он усмехнулся. — Конечно, хорошие. У нас ведь полстраны сидело. Вот мне сорок пять, из них я двадцать лет на зоне. И что? Ничего. Все сидели. «Записки из Мертвого дома» читала? А ты вообще кто по профессии?

— Преподаватель. Философии.

— О! Философ! Слушай, вот ты мне скажи, что у вас по поводу существования Бога говорят? Есть он, нет?

— Все по-разному.

— Ну, мы всех трогать не будем, а сама-то что ты думаешь?

— Есть.

— А я, знаешь, в монастырь собираюсь. Хочу на покой уйти, с грехами разобраться. Да и вообще... Устал. Проблем столько. То одно, то другое. Сына вот от армии надо отмазать, а потом можно и уходить.

Наташа в пятый раз пела «А белый лебедь на пруду», молодой человек в дорогом костюме, подвыпивший, каждый раз расплачивался тысячной купюрой.

— Душу, говорят, надо спасать. А то там, — он указал наверх, — все может не очень хорошо сложиться. Он подлил ей вина и стал рассказывать, что сын, убегая от представителей военкомата, выпрыгнул в окно, сломал ногу, теперь в больнице. На какое-то время вопрос решен, а вот что потом делать, когда нога заживет? Он опрокинул несколько стопок водки и быстро захмелел.

— Бог, Бог. А что твой Бог? Вот захочу — и не отпущу тебя и твоих друзей, захочу — здесь останетесь. И кто сильнее? — Петр смотрел зло, с усмешкой, от прежнего добродушия не осталось и следа. Ощерился, словно волк. За соседним столом шумели его ребята, набрались, готовы на подвиги. Только скажи. Спасибо тебе, Наташа, за концерт.

— Не отпустить можно. Почему бы не отпустить? Но ведь сила не в том, чтобы способствовать злу, греху, а чтобы его преодолеть. Силен тот, кто совладеет с искушением, с желанием совершить плохой поступок. Сила в том, чтобы победить грех.

— Значит, вот так? — Волчий огонь в его глазах погас. — Победить грех. Это ты хорошо сказала.

Наташа и Слава уже собрались, махали Аглае из холла.

— Петр, мне пора.

— Давай я провожу, — он помог надеть пальто, довел до дверей.

— Ты это, еще в гости приезжай. Поговорим. Счастливо!

— До свидания! — и он ушел в свой кабак, полный сизого табачного дыма, любителей шансона и пропавших душ.

Вышли на воздух. Аглая выдохнула. Не хотелось думать, что могло бы случиться, ошибись она, скажи не то. Наташа улыбалась:

— Столько заработали! Ты прям удачу приносишь.

— Ага. — Аглая смотрела на ее синие глаза, красивые пухлые губы. Ничего не сказала, сдержалась.

— Видишь, я же говорила, они нормальные.

— Нормальные-нормальные. Давайте уже двигать домой.

— Ну и зачем ты туда поехала? — Егор смотрел мрачно и вовсе не смеялся после рассказанной истории.

«Сказать тебе зачем? Живет себе человек, и не знает, что делать сам с собою, и хочет идти куда глаза глядят, чтобы найти нечто, что, может быть, сделает его счастливым. Но что ты можешь знать об этом? У тебя есть Беата».

Такую любовь она видела только в кино: им, двоим, достаточно было взгляда, чтобы договориться. Они уходили на целый день и шлялись по городу, а возвращались, смеясь и подкалывая друг друга. Они не ссорились и не кричали. Кормили друг друга с ложечки. Вместе рисовали, листали какие-то альбомы. Музыку слушали в одних наушниках. Беспреданно целовались. Эта лодка не могла разбиться о быт. Она плыла в вечность. Тогда как сама Аглая плыла в очередной тупик.

— И?

— Просто развеемся.

Тут же встрял Миша:

— Я, Глань, между прочим, тоже не одобряю. Я бы даже строже выразился, если бы не присутствующие джентльмены.

— Буду хорошей, раз вы так настаиваете.

Общение с Наташей и правда скоро сошло на нет, и больше они никогда не встречались.

— Я помню. Помню, сюда положила. — Кати перетряхивала сумку в сотый раз. Кошелька в ней не было. И все уже было понятно. — Нет, паспорт здесь, слава богу.

Кати работала методистом в частном институте, в котором до этого стажировалась. Институт был хитроумным заведением по зарабатыванию денег для ректора и К°. Все как положено: гранты из-за границы, получаемые на издание книг и бесплатное их распространение. Естественно, книги потом продавались. В сам институт набирали стипендиатов из разных городов и стран, при этом получали на каждого студента по пять тысяч долларов сразу из нескольких зарубежных фондов. Студентам доставались из этих стипендий крохи, да еще они были обязаны работать на институт. «Мы же вас из таких дыр вытащили, вы должны быть нам благодарны!» — говорила подруга ректора, виднейший специалист по иконописи, не смущаясь вскрывшихся обстоятельств.

«Да, я все знаю, — говорила Кати, — да, они не очень хорошие люди, но мне нужна работа, а они платят, помогают с визой, дают деньги на жилье».

Как-то раз Кати позвала Аглаю с собой за передачей от родственников. Привезли ее друзья из Тбилиси во главе с неким Томазом. Остановились они в гостинице «Измайловская», в корпусе «Бэга», — так было сказано по телефону. Проблемой оказалось то, что в наличии имелись только «Альфа», «Бэта» и «Вега». «Что же они имели в виду?» — ломала голову Кати, пока в темноте — а был уже вечер, они перебежали от одного корпуса к другому. Из стоявшей неподалеку машины их окликнули: «Вы по вызову, что ли? Заплутали, девочки?» Тут они переглянулись и припустили что есть сил к «Веге», где, к счастью, нашелся Томаз. Обрато везли банки с вареньем из черешни, грецких орехов, инжира, хурму, чурчхелу, вино. После встречи с друзьями только что смеявшаяся и сияющая Кати погрузстнела: «Ты знаешь, я очень хочу домой».

Домой. Ключевое слово. Только где этот дом?

— Мне одобрили стажировку в Англии, — Беата протянула Аглае распечатанный e-mail. — Институт дизайна. Я подавала документы еще до встречи с Егором. Была уверена, что мне нужно уехать, что буду учиться там. А сейчас... — она уперлась руками в подоконник и внимательно вглядывалась в происходящее за окном, хотя там были всего лишь высокий корявый тополь и кусок двора. — Все катится куда-то к чертям. Но если я останусь, что дальше? Мои родители живут на жалкие гроши, у отца нет даже гражданства, хотя он на Латвию всю жизнь отпахал. Мать — инвалид. Платежи за коммуналку дикие, лекарства дорогие. Как я могу думать о себе? Я не имею права! Это хорошая стипендия, с перспективой, понимаешь? А здесь я никто и буду никто. Меня уже и так затрахали с этой визой. А вид на жительство — не представляешь, сколько бумажек и унижений. Родине мы — русские — не нужны.

— А там нужны?

— Там все чужаки. Ты равный среди равных. Ты можешь вступить в битву и выиграть. И я должна всех переиграть — эту чертову бедность, англичан, латышей, я должна выгрызть победу. Зубами, если надо будет.

Хрупкая, красивая, ледяная. По щекам текут слезы.

— И я смогу.

Она забрала письмо и ушла, не взглянув на Аглаю.

— Мои хорошие, дорогие, я вас очень и очень люблю. Вы простите меня, если что не так. Живите дружно, еще увидимся. — Она расцеловала и обняла всех. — Я приеду, и вы приезжайте, если получится.

Егор взял чемодан, и они ушли.

В опустевшей квартире капала вода из сломанного крана. Вернулись на кухню, Мишка задумчиво почесал бороду:

— Да, отождгли наши друзья из солнечной Юрмалы...

— Я бы не уехала. Если бы у меня была любовь, то нет. Никогда. — Кати задумчиво глядела в окно. Легкие снежинки поднимались вверх.

— Там лучше. А что здесь? — Кирилл обвел взглядом убогие, давно не крашенные стены старой кухни, с желтой раковиной, темной вентиляционной решеткой, дверью с треснувшим стеклом. — Здесь ничего не изменится. Тем более она не русская, зачем ей маяться. А Европа остается Европой. Латвия скоро вступит в Евросоюз, откроются совсем другие перспективы. Я бы тоже поехал.

— У каждого будет свой день и час, когда решать.

— Да что решать-то? Надо работать, продвигаться. Что дальше — съемные квартиры? Вот тебе уже тридцатник, и все по чужим углам. Видал таких. Не хочу. Надо

четко ставить цели. Карьера, квартира, машина. Я думаю, это нормальная цель — быть обеспеченным человеком. Больше никаких унижений. Не витать в облаках, а зарабатывать. Вот это я понимаю. А Егор сам виноват. Искусство никому не нужно сейчас. Значит, надо заниматься не искусством, а тем, что приносит деньги. Согласен, прагматично! Но работает! И не кончишь жизнь под забором, алкашом каким-нибудь бездомным. У нас был такой, сосед, дядя Витя, народный художник СССР, или как там — кисточки и то распродал все по пьяни, не то что картины. Хочешь быть, как дядя Витя — ну вперед, кто мешает?

Никто ему не ответил. Кати встала и начала хлопотать по поводу ужина, остальные разбрелись по своим углам.

Миша сидел с бокалом в руке, уставившись в одну точку. То ли завис, как компьютерная система, то ли думал о своем. Вдруг он встрепенулся:

— Хочешь, я тебе стихи почитаю?

Аглая пожала плечами. Миша встал и начал декламировать:

В узкой расщелине
Плотно сжатого времени
Бьется в истерике мое поколение
Скошенное бурей
Страстей и неверия
Смердит, разлагаясь, «цветок» лицемерия

Жадные черви
Гнусные правила
С детства зазубрены до иступления
Горькие зерна
«Морали и нравственности»
Мы разжевали с приправой стяжательства

Все исковеркано и переломано
Отравлено, стерто и брошено с злобою
«Молимся» долго мы и распятия
С надеждой направили в выси глубокие
Ищешь ответа? Стекла протри
Приблизилось «царство вселенской любви»...

Он глубоко вздохнул и залпом выпил пиво:

— Ну, как тебе? Только честно?

— Ну, э-э-э... Сильно. Я бы даже сказала, актуально.

— Что-то не слышу оптимизма. Не искренне ты как-то это все говоришь. Я же от души, о наболевшем.

Он сел, повертел головой в поисках новой бутылки. Открыл, налил, отхлебнул.

— Мне уже почти тридцать. И что? Ни семьи, ни детей. Хотя говорит тут одна, что вроде бы от меня... Не знаю. Врет, наверное. Работа — дерьмо. Ну, бабло, ну, много. И что? Счастья нет. Нет счастья! И где, блин, его взять? Как ты думаешь, я хорошие стихи пишу? Только честно. Нет, можешь не говорить, сам знаю. И стихи-то дерьмо. Умру, и ничего не останется. Настоящего. Пустота... В монастырь, что ли, уйти? Покаяться? Нет, не смогу. Бо грешен и слаб. Как жить-то, Гланя? Ты ж философ, должна быть в курсе. Может, свалить? После кризиса, в девяносто восьмом, хотел, уже виза

на руках была, билеты. В последний момент поехал к одному старцу во Псков, ты можешь, слышала? Известный старец! Он тогда мало уже принимал. Но меня принял. И сказал мне остаться. Жаль только, больше ничего не посоветовал... Но я остался. И вот до сих пор не могу понять зачем. Хрен выпускаю. Маркетинг хреновый осуществляю. Пью. А счастья нет. Может, его вообще нет? Ты вот счастлива, Глань?

— Я не знаю, Миша. Иногда бывает такое — предощущение счастья. Значит, оно есть, просто надо дожидаться.

— Нет, я такого не чувствую. Наоборот, запашок какой-то. А это душа твоя гниет, твоя собственная. И сделать ничего не можешь, сил не хватает. Может, того, пулю в лоб и покончить со всем?

— Не пори чушь.

— Ты не понимаешь. Еще веришь, что все будет по-другому. Не будет. Я уже пожил на этом свете и могу тебе ответственно заявить: ничего не изменится. Ни через десять лет, ни через двадцать. Только холод и пустота. Ладно, пойду покурю.

Егор, поначалу убитый отъездом Беаты, понемногу пришел в себя — они звонили друг другу по скайпу каждый день, писали письма. Казалось, все наладится, и вдвоем они что-нибудь придумают.

А Мишка, вернувшись в один из дней, как обычно, водрузил свой гремющий пакет на табурет и вдруг торжественно объявил:

— Я влюбился.

— И кто счастливая избранница?

— Наша соседка.

— По-моему, она старовата для Миши.

— Да не она, а ее дочь.

— Проблема только в том, что он не видел ее лица.

— Как это?

— Ну, понимаешь, мы зашли в лифт, потом ее мама и она. И было видно только спину.

— И то, что ниже спины.

— А-а-а!

— У нее прекрасная фигура! А волосы! Волосы до попы! Светлые. Шикарная блондинка!

— Но может, все-таки стоило посмотреть и на лицо. Может быть, она страшна, как смерть?

— Аглая, в тебе ни капли романтики, ну ни капли! С такой фигурой женщина не может быть уродиной. Это закон природы.

— Ну, хорошо. И что же теперь делать?

— Не знаю.

— Может, пойти познакомиться? Соседняя дверь все-таки.

— У нее такая строгая мама. Мне не хочется, чтобы она считала меня легкомысленным.

— Ну что же тогда? Сидеть страдать на кухне?

— Аглая, какая ты бессердечная! Нет бы пожалеть! Утешить! Ты знаешь, что такое любовь? Это как болезнь! Так же неприятно!

— А я думала, приятно.

— Нет, нет, это ужасное мучение!

Вошел Кирилл, которому была пересказана трагическая история любви.

— Даже не знаю, что и посоветовать.

— Да откуда тебе, блин, знать! — Миша держался за сердце и морщился от боли. — Цветы! Нужны цветы.

Так, всей гурьбой они отправились в супермаркет напротив. В маленьком отделе на входе, среди роз и хризантем, сидела молоденькая девушка.

— А вот вы могли бы доставить букет по адресу? Тут недалеко?

— Конечно, доставим. Только скажите кому, куда. Без проблем.

— А какие же выбрать? Двадцать роз, нет, двадцать пять. Мы же не на похороны. Розовые? Белые? Бордо?

Потом они смотрели в глазок, как курьер (им оказался парень цветочницы) вручает букет соседке. А затем, прислонив стакан к стене, пытались услышать, что говорят женщины. Но доносилось лишь неразборчивое «бу-бу-бу».

Следующий день был вновь озаглавлен выбором цветов и их доставкой.

— Ну что они там? Неужели не удивлены?

— Нет, я так не могу. Я умру. Я должен с ней переговорить.

— Ну, постучись и переговори!

— А ты бы вот стала говорить с мужиком, который внезапно постучал в твою дверь и сказал, что любит тебя? То-то! Интересно, а можно узнать ее телефон? Я бы ей позвонил.

Два дня были потрачены на новый букет, воркование с Аделиной — оказалось, так звали продавщицу — и добывание телефонных баз у какого-то знакомого Кирилла.

Но когда тем вечером Аглая вернулась домой, то обнаружила Мишу в печали, с бокалом в руке. Со звонком явно получилось не то.

— Что на этот раз?

— Я разлюбил Катю.

— Как?!

— Я позвонил ей. И услышал голос. Что за голос! Ужасный, какой-то ватный, мвякающий. Как только она заговорила со мной, я понял — это конец. Я не могу даже приблизиться к женщине с таким голосом. Любовь прошла... Ты понимаешь, как это больно? Не знаю, как я это вынесу... Как я несчастен! Аглая, ну что ты стоишь! Пожалей же меня скорей! Как я любил ее, блин! Какие ноги! Какая фигура. И такой голос! Вот за что Бог награждает женщин таким голосом? Нет ответа на этот вопрос.

— Миша, мне очень жаль, что так получилось.

— Мне тоже. — Он помолчал, разглядывая, как золотятся в бокале с пивом пузырьки. Потом отхлебнул. — А вот что ты думаешь об Аделине? Аделина — какое имя! И как она улыбается. И пахнет цветами. Прекрасная цветочница. Я бы не прочь с ней замутить...

— Миша! Окстись! Ты еще не пережил потерю Кати.

— Но надо же мне как-то ее пережить. Аделина мне поможет.

— У нее есть ухажер, между прочим. И вообще пора завязывать с этими похождениями. Будь серьезней, в конце концов.

— Я серьезен, как никогда. Все, я люблю Аделину. Пойду подарю ей цветы. Да! — И он действительно ушел. И купил у нее букет для нее же. И сделал массу заманчивых предложений, которые никогда не были воплощены: Мишина любовь к Аделине закончилась уже через пару дней. А Катя? Что Катя? Наверное, она вспоминала потом эти странные звонки в дверь, розы от незнакомца, яркое мартовское солнце, пронизывающее комнату с цветами и усиливающее их благоухание. Кудахтающую матушку: да что такое творится и куда катится мир. Любовалась бархатистыми лепестками и верила, что мир катится в правильном направлении.

Веселый, звонкий трамвай спешил куда-то — она даже не задумывалась, куда именно. Аглая ни разу не прочитала надпись с маршрутом. Но звон его был бодр, обещал

хороший день, призывал бежать по делам. В кино, магазин, просто бежать... Так звенела Москва. Ежедневно, сверкая искрами, извлекая из городских сетей электричество. А может, не из сетей вовсе. Кто знает, чем питаются большие города.

Она ни разу не заходила и в магазин «Свет», который был на первом этаже их дома. А зачем, если запас лампочек так и лежал в шкафчике, заботливо купленный прежней хозяйкой. Его хватило бы еще лет на десять.

Солнце с утра заливало улицу потоком света. Старые дома, трамвай, гул города, юная майская листва — казалось, это кадр из фильма о беззаботном прошлом. Но потом взгляд ловил аляповатые пластиковые вывески, козырьки из сайдинга, новомодные машинки, супермаркет «Русь» с хохломой на красном фасаде — Миша обязательно заглянет туда вечером, купит люля-кебаб, хрустящий хлеб и пиво. И становилось ясно, что ты в самом реальном настоящем.

— Ну что, в кино?

— В кино. Мишка, чур, не храпеть на весь зал!

— Когда я храпел, ложь! — Он ушел покупать билеты.

Егор загадочно улыбался, потом все-таки сказал:

— У меня новая работа.

— Ух, ты! Поздравляю!

— В рекламе.

— Только... Ты ведь этого так не хотел?

— Пора стать реалистом. Жить сегодняшним днем. Ничего, прорвемся, — он махнул рукой.

— Уверен?

— На сто процентов. Я все равно их обыграю. — Он улыбнулся.

Они вышли из кинотеатра, еще оглушенные неестественно громкими звуками, удивились тишине и свежему, влажному воздуху. Через мгновение ручейками начали расходиться и другие зрители, перебрасываясь фразами о фильме, кто-то смеялся, стучали женские каблуки, хлопали дверцы машин. Они переглянулись и молча, неспешно пошли домой. Пока смотрели кино, прошел дождь, асфальт блестел, отражая огни домов, фонари, звезды, и был похож на опрокинутую карту города. Можно было следовать ей, от одного блика и растекшегося светового пятна к следующему, и так до бесконечности... Продребезжал трамвай, мигнул зеленый. Они перешли на другую сторону улицы, словно на другой берег реки. Из парка, вымоченного дождем, шел терпкий лиственный дух, пахло сырой землей, с деревьев падали капли. Никто не проронил ни слова. Потом Мишка задрал голову к небу, вдохнул полной грудью, сгреб в охапку Аглаю, Егора и Кирилла, сказал:

— Хорошо-то как, ребята! Навсегда бы так...

Они постояли еще минуту все вместе, плечом к плечу, вдыхая лес, ночь, звезды, потом Мишка полез в карман за сигаретами:

— Вы идите, а я покурую.

На карте города зажегся еще один огонек, Аглая ушла в теплый дом.

Что будет потом? Аглая собирала чемодан, и эта мысль не шла у нее из головы. Сейчас надо ехать, но потом? Вошла Кати, словно читая ее мысли, заговорила о будущем:

— Знаешь, говорила с ректором. Он зовет меня работать на следующий год. Завучем. Обещает хорошую зарплату и все уладить с визой.

— Приедешь?

— Наверное, приеду. Ну, что дома — работы нет, а родным надо помогать. Хотя не знаю. Здесь одной тяжело, чужая страна все-таки. И со здоровьем проблемы. И климат

этот дурацкий. Весной-летом хоть солнце, а так... Знаешь, сколько солнца у нас в Грузии! Сколько солнца... Не верится, что послезавтра буду маму обнимать, сестру, а отец что скажет. А у брата такие детки, просто загляденье. Нико такой упрямый и шалун, а Нино — красивая, как принцесса. Ладно, не буду мешать, собирайся.

Вещи были собраны. Сидели за столом, ели золотистые хачапури, хлопотала Кати, но Аглае кусок в горло не шел.

— Я тебе в поезд заверну.

— Заверни.

Мишка то и дело ходил курить, потом хмуро бросил:

— Погнали.

Проводы не клеились, в горле стоял комок. Словно всем надо было что-то преодолеть. Невидимую горочку, подъем, после которого все начнет рассыпаться, но сейчас признаться в этом было невозможно.

Обнялись на прощание.

— Да ладно, не плачь ты, приедешь еще. Приедешь. Никуда мы не денемся.

— Конечно, приеду.

— Глаха, Глаха, как я буду скучать!

— Я тоже.

— Ничего, держись.

— Ну, ладно, пойду.

— Давай там!

— Счастливого пути.

Запах вагона. Аккуратные купе, занавесочки, коврики. Сейчас поеду. Так, двадцать восьмое, сюда. Семейная пара в возрасте. Здравствуйте, а вы куда? а мы...

— Вот, брат ваш передал, — заглянула миловидная проводница, протянула плитку шоколада.

— Какой брат?

— Тот, с бородой.

— Да, верно, брат. Спасибо.

Они стояли на перроне, переговаривались. Мишка курил, Кати махала и посылала воздушные поцелуйчики. Кирилл показывал, как надо писать письма: воображаемая ручка чертила на раскрытой ладони какие-то знаки. А Егор просто улыбался. Потом поезд тронулся — несмело, но она уловила это движение в неизвестность, этот разрыв. И вместо стука колес услышала треск рвущейся материи. Материи ее собственной жизни.

Порхающие бабочки ладоней стряхивали пыльцу расставания, обнадеживающие улыбки сияли вослед. Прощайте, ребята! Прощайте...

— А я тебе скажу — не будет ничего. Смотри, сколько нахпали, и разве они не удержат? Нет никакой движущей силы будущей революции. Пролетариат — где он? Интеллигенция? Офисные работники? Офисные могут — буржуазную. Чтобы с ними поделились. — Аглая оказалась наедине с двумя гостями Петра — праздновали его день рождения, на который пожаловало какое-то запредельное количество бородачей, будто мечтавших составить конкуренцию Марксу. Все уже разошлись, и только эти двое все пытались докопаться до истины, а может, так — выпустить пар. Петр убирал на кухне, Ася укладывала дочку. Аглая чувствовала неловкость, уже забыла их имена, хотя в начале вечера их представили друг другу. Взяла с полки первую попавшуюся книжку — это оказался Грамши — и уткнулась в нее.

— Да и один человек ничего не решает. Вот Егор — ну глупо ведь поступил, скажи. Зачем?

— А кто решает? Кремль решает? В Вашингтоне решают? Теневое правительство? Рептилоиды? Высший разум?

— История — многофакторный процесс. И роль личности в ней имеет значение.

— Думаешь, наше поколение проиграло?

Ее поколение было тем самым последним пионерским отрядом, который еще готовили к неземным и высоким свершениям, но который так и не полетел в космос. Они стали новыми менеджерами — в одном ряду историки и преподаватели русского, математики, экономисты, биологи, технари всех направлений. Натягивали на себя костюмы, шли в офисы и продавали-продавали-продавали. Ради светлого будущего — своего и своих детей, да и внуков. Ну а что делать, скажи, что было делать? За три копейки, что ли, пахать где-нибудь в школе? Инженером? Умная такая. Да ладно, что вспоминать. Пережили, зарубцевалось.

А кто-то думал, надо переждать. Ну не может это все быть по правде — проданные за гроши предприятия, фабрики, заводы, целые отрасли, когда-то построенные дедами и отцами. Гламурные девы в золоте и бриллиантах, их папики на «майбахх». Чиновники, быстро срастившиеся и с криминалом, и с олигархами. И все в какой-то метастазной связке, одно без другого не вырежешь — да было бы кому вырезать? Там столько украли, здесь столько. Русские кварталы Лондона и виллы в Ницце. Подмосковные дворцы владельцев корпораций и чиновников. Роскошные коттеджи под каждым уважающим себя городом и городком, с плотными серыми заборами и решетками. И сначала что-то еще дергалось внутри: ну как же так? как можно? А потом стало восприниматься как само собой разумеющееся — и откаты, и безнаказанность, и наворованное — у своих же соотечественников — богатство. Морок и не думал заканчиваться. Стало ясно, что отныне здесь будет править власть денег. А главным будет человек, для которого все продается и покупается и цена в той или иной валюте — единственная мера всех вещей.

Детство и юность быстро заносило пылью от рушившегося общего дома, и те, кто шли после, уже думали, что мир был устроен так вечно. Сами они заглядывали в прошлое, словно в секретники, вырытые среди пыли, и там по-прежнему — среди засушенных травинки, цветной фольги от конфет — светилась морским стеклышком исчезающая родина. Надеялись они, что все вернется? Что нынешних «хозяев жизни» кто-то сильный и справедливый выметет метлой, а может, чем покрепче, и настанет новая, светлая жизнь? То самое прекрасное далёко? Что же ты нам ничего не сказала, Алиса? Ты же все знала!

Где-то еще хранил военную тайну мальчик из советской сказки и сквозь годы просил об одном: «Не сдавайтесь!»

— У всех своя правда.

— Это оправданий может быть много, а правда всегда одна.

— И это сказал фараон?

А может ли еще быть одна правда на всех? Рассыпался прежний метанарратив, и каждый ухватился за свою историю. Истина уже не интересовала никого, истина требовала самопожертвования, крови, труда. Не хотелось. На ее место пришло мнение. Совокупность равноценных мнений. От профессиональных до абсурдных. За мнение уже не нужно было отвечать. Сегодня ты писал одно, завтра другое. Сегодня оскорб-

лял, завтра льстил. Плевать. Можно было развенчивать авторитеты и быть выше их. Можно было ошибаться и не извиняться за это.

Как жить — оформлено и упаковано. Девочкам — Прованс, миллионера, шубку, ламборджини. Мальчикам — длинноногую блондинку, бизнес, креселко в корпорации, джип. Супермаркет жизненных шансов и моделей. Нажми на кнопку — получишь результат, и твоя мечта осуществится. Жмут, жмут, а не осуществляется. Может, секрет какой-то есть?

— Народ-народ. Да народу и эта власть аморальная не близка, а уж оппозиционеры все эти либеральные тем более. Что ему остается — выживать. Медицина разваливается, с образованием неизвестно что, милиция коррумпирована, да и не только она. Цены растут. В школу детей собрала — подвиг! Знаешь, как сидят на родительском собрании матери и решают, по сколько скидываться — на нужды класса, на тетради какие-нибудь рабочие, на подарки учителям. Одни — барыни такие самолепные, любую сумму отдадут. А другие сидят, глаза в пол, и понимают, что если сейчас эту тысячу отдадут, то мяса уже не купят, что в старых сапогах будут опять ходить, но отдадут — и не одну, а две, три, пять. Ну а как иначе? Сказать, что ты бедный? Что мало зарабатываешь? Лучше удавятся. Или когда в классе у всех модные раскладушки или даже смартфоны, а у твоего старенькая «Нокия». И копишь, копишь, откладываешь на новенький. Чтобы не хуже. Так страшно быть хуже. И вроде работаешь — не тунеядка, нет, как все — по восемь часов. Тогда почему? А кто-то новую яхту покупает — раскурочил твой завод, какой-то эффективный менеджер, мужики кто горе заливает, кто на вахты уехал, но городок твоей юности не узнать, безнадега, работы нет, денег нет, приплыли. Или районная больница облезлая, ржавая, без лекарств и толковых врачей, без оборудования. А там, у них — дворцы. Роскошь, золото. Нет, когда-нибудь там будут пионерлагеря! санатории! — пишет какой-нибудь мечтательный блогер. Ну, что ты врешь, ничего не вернешь. Все так и будет дальше. И надо просто выживать. Не до политики. Эти ладно, пусть воруют, пусть в своих дворцах, пусть спят в Думе на заседаниях, нам от них ни холодно, ни горячо, главное, чтоб дети сегодня поели, чтоб были теплые куртки, ботинки и купить этот чертов смартфон, наконец.

— Раньше, раньше. Если ты был бедным — ты не был дерьмом. А сейчас — да. Потому что общество денег и успеха. И требования у общества значительно выросли, согласись? «Волгой», джинсами и папой-дипломатом не обойдешься. Я бывал в таком захолустье, мама не горюй. Где матери кормят детей дешевыми чипсами. Потому что оказывается выгоднее, чем картошку покупать. Вот ты сидишь в столице, в этом Вавилоне, и можешь себе такое представить? Или северный городок, спивающийся лет с десяти. Где на дискотеке вместе — и матери лет под тридцать, и их четырнадцатилетние дочери, и все пьяные? И так каждые выходные. И это единственный их свет в окошке — эта дискотека. Или вот в деревне — Центральная Россия, два часа от Москвы — при советской власти была школа, библиотека, медпункт, магазин, ток, где зерно мололи, коровники и курятники, пасека была, а теперь ничего нет — даже магазина, где можно хлеб купить. От школы одни развалины, все зарастает, на всю деревню, где теперь только старики, — один фонарь. И то его не включают — экономят. И бабушки сидят впотьмах. И историй таких куча, и все как под копирку: все было, а потом пришли эффективные, скупчили, разворовали и конец.

— А что же люди сдались-то? Что за безвольные овцы?

— Может, поняли, что проиграли. Фаталисты. Или не думали, что так все закончится по своей наивности. Верили в государство. Патернализм, е-мое. И до сих пор продолжают. Звонят на прямую линию: помоги, царь-батюшка, подсоби, бояр своих придержи да накажи, а в тебя мы верим, ты добрый и хороший, просто не в курсе. Но, может, он еще проснется, и — раз, революцию сверху. А может, новый Ленин придет с отрядом большевиков. И они все наворованное народу вернут, всех плохих накажут, коррупцию победят, бедность победят, бездомных расселят по домам, повернут вспять реформы здравоохранения и образования, построят кучу заводов, плотин, пароходов. Конечно, будут жертвы, кризис, сложности. Но большевики смогут все — уже раз ведь смогли. А обыватель будет смотреть на это все по телевизору, оставаясь белым, пушистым и незапятнанным. Ну, может, размещая анонимные посты в ЖЖ. Только сегодня никто не хочет быть ни Лениным, ни тем отрядом большевиков.

— Да что уж говорить. Разговоры по схемам. Общаешься с патриотами, они — вот деревня разрушена, вот заводы стоят, ветер гуляет в корпусах, проклятые капиталисты что сделали. И тут же — но Россия у нас великая, у нас все хорошо, не то что на Западе этом прогнившем. Монархисты все слушают хруст французской булки сквозь века. Либералы ждут, когда Рашка наконец укатится в унылое говно. А сталинисты — когда придет товарищ Сталин и наведет порядок. У всех свои иллюзии.

— И все из века в век. В восемнадцатом каком-нибудь либералы — что, не те были? Как будто определенная матрица в России воспроизводится. Только мне непонятны ее механизмы. Что заставляет ненавидеть свою родину и быть патриотом чужой? Почему не только неудачи и поражения, но и победы и подвиги страны вызывают какую-то животную — да есть ли подобная у зверей? инфернальную ненависть? А империю добра тут же готовы оправдывать и восхищаться — пусть хоть весь мир разбомбят. Да и Рашку, если бы разбомбили — не жалко. Пусть с твоими родными, друзьями, учителями, соседями. Некоторым в запале и себя не жалко — можно даже не эмигрировать. Так и надо, — говорит, — слюна летит, взгляд пылает. Что у них там в голове? Мне иногда так хочется заглянуть. Но там ведь лишь нейроны, синапсы, черт разберет. Что-то вспыхнуло, соединилось, мысль промелькнула, уста извергли. А как формируется эта линия раздела: свой — чужой? Вот этим жить, а этих можно на свалку? Это ведь очень страшная линия. Это сейчас на уровне разговоров, а наступит момент — когда речь пойдет о жизни.

— Да что наступит! Все это было уже. Травли, доносы, вся эта интеллигентская возня. Раньше было непонятно, как такое возможно? Вроде же все честные, пламенные. Сейчас уже понимаешь. Этот с трибуны про честность, высокие принципы, моральность, у самого штук пять жен, другая — свобода, духовность, а сама — на грантах от миллиардеров пишет свои высокохудожественные эссе. Культура — она же без денег не живет, а кто ее может питать — либо к государству надо присосаться, но при этом его же, государство, и попинывать — а как иначе? Художник должен быть свободным. Кормиться, но чтоб не подавиться. Либо обслуживать частный бизнес с большими деньгами. А если не хочешь — будешь прозябать. Сторожем каким-нибудь в Воронеже.

— И много ты напророчил? Ведь хорошо устроился.

— Ну как тебе сказать? А может, лучше туда — в темную деревню. Был бы я там — фонарь горел.

— Мечтания интеллигентские. Совестьливые, как всегда. Беги — спасай народ. А народ без тебя спасется. Если трогать не будешь особо.

— Что дальше? Великие победы, открытия, космос?

— Каждой великой победе предшествует великая война. А кто пойдет на нее и сложит свою голову? Вряд ли те, кто сидят на кухнях и строчат в ЖЖ,

— Но я не верю, что все закончится на этом.

Они замолчали, потом один из них кивнул на балкон:

— Покурю? — и они ушли, начиная новый виток разговора.

Притягательные золотые окна в домах напротив. Кажется — там тепло и уют, чай с пирогами пьют, а по телевизору смотрят канал «Культура». И чем выше ты мог подняться, тем больше бы увидел городских огней, сияющих окон квартир, где в каждой — люди, со своими надеждами и мечтами, бедами и заботами.

Вот доморощенные философы под свое понимание окружающей жизни подверстывают всю страну. Знают, кому что нужно.

А какая она — среднеарифметическая Россия? Вот так, взять, посчитать — вывести наконец верную формулу и успокоиться.

Сколько раз она виднелась из окна поезда — огромное, бесконечное — день сменялся ночью, ночь — днем, — пространство. Станции, дома путевых обходчиков и сторожей, с крохотным огоньком в ночи, маленькие уснувшие городки, покосившиеся деревушки с кривыми, щербатыми заборами, нарядные дачи с аккуратными квадратами огородов и ребрами парников, с церквями на горизонте, с людьми, сидящими на перроне и провожающими поезд. Бабушки, бегущие к вагонам — копченая рыба, пирожки, яблоки, хрусталь, пуховые платки, — как, ничего не надо? А подешевле возьмешь? А если по пятьсот? Дорожные разговоры о том о сем, сначала с осторожностью: всяк человек может быть. Большие города, над которыми поезд по мосту, по насыпи, и машинки сразу словно игрушечные, и жители крохотные, как заводные куклы, куда-то спешащие. Или — поля, поля. И никого совсем. Но смотришь и знаешь, какие тут люди живут. Вот по этой кромке поля, по одинокой березе тебе известно все.

Чудо-юдо рыба кит, то плывет, то стоит, обрастая ракушками, превращаясь в остров, потом — раз, нырнет в глубины, вынырнет и волной смоем половину деревушек и расписных теремов.

Загадка ли жизнь или все предопределено? В окнах домов иногда были видны силуэты, и свет домашних ламп и люстр просвечивал судьбы насквозь. Все было известно. Мы останемся здесь. Что бы ни было. Нам некуда и — незачем — уезжать. Под синим небом и белым снегом спит уставшая Родина.

Красный-красный-красный, желтый-желтый-желтый, зеленый. Вот так и в жизни — ждешь, когда дадут зеленый свет. А даже желтого нет. На другой стороне после перехода к Аглае вдруг подходит мужчина:

— Женьщина, женьщина, я дико извиняюсь, не подскажите, где здесь Бутырская тюрьма? — на вид типичный Промокашка, с когда-то переломанным носом, кажется, он сам только что оттуда вышел.

— Тюрьма — во дворе этого дома.

— Ой, спасибо большое, — говорит он радостно и уходит совсем в другую сторону.

Аглая только пожимает плечами.

В арке дома — силуэт кошки, будто сидит столбиком и тебя дожидается. Аглая обманывается каждый раз. Подходит ближе, кошка исчезает, вместо нее — железный штырь. Непременная деталь российского ландшафта, строительный артефакт — штырь, проволока, труба, трос, торчат из земли, неизвестно, как попали, неизвестно, куда ведут. Может быть, знак дороги в подземный мир. Но для избранных — остальные идут мимо, кто чертыхается, запнувшись, ругает рабочих. Кошка вновь убегает. Снова не удается разгадать направление.

В квартире работает телевизор, Тимофеевна пьет чай, зовет смотреть новости. Вечерет, и двор освещается лимонным светом фонарей, огнями квартир. Кажется, будто это громадный аквариум, и в него сейчас выплывут рыбы-светильники из салона. А может, люди. Если откроются решетки...

Аглая смотрела на Тимофеевну и понимала — ее саму может не миновать такое будущее. Одинокая старость в квартире с пыльными окнами. Будет ли она еще преподавать, или выставят на пенсию? Будет ли ей хватать тех жалких рублишек, чтобы не потерять человеческое достоинство? А физических сил? Может быть, некому будет подать воды... Вполне возможно. Это раньше казалось, что плохое — не с ней, у нее-то все сложится. И что? Вот уже за тридцать. «Наша-то все без мужика, детей-то нет, бедная», — шепоток вослед. Унизительно, безнадежно. И что сделала не так? Если бы знать...

Раздался звонок в дверь, Аглая открыла. Семеновна, в любимой ярко-синей кофте с перламутровыми пуговицами, пахнувшая домашней едой, пробурчала приветствие, резво прошла в комнату, выложила из пакета печенье в тарелку.

— Курабье, Шурка, нашла, такое, знаешь, как в молодости. Думаю, дай тебе занесу.

— Спасибо, Маня. Всегда ты позаботишься, не забудешь убогую. Чаек давай с нами пить, новости посмотрим.

— Ой, новости эти еще твои. Одно вранье. Вот для таких, как ты, недалеких. Слава богу, спорт уже у них. Даже чё-та выиграли. Надо же!

— Правду не правду, Мань, а что-то узнаем, что в мире творится.

— На кой тебе оно, Шурка? Узнаешь и что, слаще спать будешь? — Семеновна сходила на кухню, налила себе чаю и стала громко прихлебывать.

Аглая только было собралась уйти к себе в комнату от греха подальше, но баба Маня уже вперила в нее своим голубым пронзительным взглядом:

— А у тебя, молодая, как дела?

— У меня все хорошо, спасибо.

— Ухажеров не появилось?

— Нет, — Аглая встала, но баба Маня властным жестом ее остановила:

— Ну-ка присядь. Присядь и послушай. Вот ты не замужем, а думаешь почему? Мужиков нет? Правильно! Потому что мужик не нужен. Такой, какой он есть. Настоящий — который никого не боится, правду-матку режет, грудью на амбразуру, в огонь и в воду. Вот такого его — убьют, посадят, затопчут. Нужен мужчинка, который бы жену слушался, теще бы прислуживал, перед начальником тише воды, ниже травы, властей боялся. Мудак нужен, во! Вот и лепят его с младых ногтей что семья, что школа. Мужчина — раб, женщина — шлюха. За шмотку и побрякушки удавится. Вот это идеал, я понимаю. Поэтому что тебе — куковать одной. Как не жаль. Плачешь, поди, в подушку ночами?

— Маня, опять ты за свое. От грубости своей не избавишься. Учужу тебя, учужу.

— А мы неученые, нам-то что, нам не стыдно. Чего правды-то стыдиться.

— Перестань обижать Аглаюшку. Хорошая она девочка. Добрая. Товарищ в беде у ней, а тебе все бы гадости говорить.

— А что ждать его? Посадили, и с концами. Что, сама не знаешь? Не дури девчонке голову, не выйдет он. А выйдет — что? Детей с ним растить? Бессмыслица какая. Домой

надо ехать, к мамке. Мамка-то в годах уже, поди, поддержка ей нужна, опора. А девка к мужику в Москву убежала.

— Маня, слушать не хочу. Злая ты совсем стала.

— Ну, вестимо, не добренькая. А зачем мне добренькой быть? Не зачем. Ладно, пойду. А ты, девка, слушай бабу Маню. Я жизнь прожила, я знаю.

Она поднялась, отнесла чашку на кухню и ушла, не простившись.

Аглая так и застыла на месте, забыв, что собиралась к себе.

Тимофеевна, огорченная, прижала руки к груди.

— Не унять ее, Аглаюшка. Ты уж не обижайся, жизнь у нее тяжелая была, озлобила.

— Я понимаю, — через силу сказала Аглая и только подумала: «Когда же это кончится?»

— Ох, и сама я от нее чего только не наслушалась. Но сердце у нее доброе. Если б не она, не знаю, что со мной было бы. Кому такая нужна... Ты, наверное, жалеешь меня, милая. Одна, старая, немощная, в четырех стенах. Не жалеи. Я прожила хорошую жизнь. И любовь была, и счастье. И работа. Люди вокруг стоящие. Об одном горюю...

Сестра моя тогда уехала деньги зарабатывать на север, а дочку мне оставила на полгода. Хорошенькую такую, Кларочку, вот она на фото, привязалась я к ней и поняла, что нужен, нужен ребеночек, нельзя женщине без детей. Говорю мужу: «Давай возьмем, пусть из детдома, но крошечка, деточка, и чужих ведь не бывает — привыкнем, полюбим». А он мне говорит: «Шура, не смогу я». И я не взяла. Не хотела его огорчать. А надо было, Аглаюшка, сердце свое слушать. Теперь вот нету у меня никого, кроме Мани. Муж умер, у Кларочки жизнь своя, да и занята она, далеко живет. Не хочу быть ей в тягость.

Живешь, живешь, думаешь, все будет у тебя, а потом судьба поворачивается так, что не будет. Хотя что делай. Не пойдешь против судьбы...

Мать Егора была из тех женщин, что вытащили на своем горбу развалины СССР. Когда все стало рушиться, мужчины запили, легли на диваны и опустили руки, женщины не сдались. Находили подработку, сажали картошку-морковку, ездили челноками, вливались в сетевой маркетинг. Перешивали детям одежду, по выходным — на оптовку, сэкономить, выгадать копеечку. Из картошки — десять разных блюд — за просто. Из гречки и макарон — пожалуйста.

И уже потом — когда полегчало, им все равно пришлось тащить выросших дочерей с маленькими детьми, чьи мужья уходили, не платили алименты, не умели зарабатывать на хлеб. Вместо отцов, которым не до собственных детей, бабушки. Неправильно? А как по-другому?

Это они хоронили своих любимых мальчиков, убитых на Кавказе. Мужей с ранними инфарктами. Ухаживали за парализованными свекровями и возили супчики свекрам в больницу.

У этого времени не герой — героиня, женщина за пятьдесят, которая выстояла, выдюжила и продолжает быть оплотом семьи. Присматривает за внуками, когда дети уезжают на заработки в большие города, или едет сама, на вахты, ютится по общежитиям, не уходит на пенсию — ведь детям надо помогать, берет этим детям кредиты — потому что надо, чтобы все как у людей, чтобы не стыдно, а она уж потерпит, перебьется, а еще ведь — больше некому. Вот она едет с работы домой, с тяжелой сумкой го-стинцев, а мужчины, развалясь в вагоне метро — от молодых до старых, — притворяются, что ее не видят. И походка пусть усталая, но ясно — что выдержит. Что готова идти столько, сколько нужно — построить дочке квартиру, зятю машину, и на даче чтобы свое — помидоры, клубника, петрушечка — и чтобы варенье на зиму, и мяты засушить.

А потом все равно падает — рак или инсульт, но она смогла, пробежала свой марафон. А вот ее доченька-девочка сможет так?

И надо ли?

Каждый вечер, засыпая, Аглая слышит приглушенный шум трамвая. Он идет не снаружи, а откуда-то из недр. Как будто ухо — не на подушке, а на груди у города, как будто это вовсе не стук колес, а стук сердца. И есть в этом что-то удивительное и сокровенное — слушать сердце великана. А еще иногда кажется, что спешит по рельсам не обычный трамвай, а какой-то волшебный, может, из тех, что перевозит людей в параллельные миры, как у Фрая. А возможно, это вообще призрачный поезд метро из полуразрушенной подземки Дмитрия Глуховского? Точно не знаю, слушаю и засыпаю...

Гость столицы, попадая в Москву, часто бывает ошеломлен. Массы снующих и спешащих людей, громоздкая архитектура, эклектика стилей, нагромождение торговых центров и ларечков, потоки транспорта, пробки, теснота метро — все это накатывает сразу и не дает опомниться. Человек чувствует себя никому не нужной песчинкой в тонне песка. Неуютное ощущение. Он вливается в этот поток, обходит музеи, театры, иные достопримечательности, боясь затеряться в мегаполисе, больше похожем не на что-то человеческое, а на громадный, плохо смазанный механизм, где все в непрерывном движении. Кажется, цап — и пола твоего пальто уже в этой машине.

Потом бедный гость тащится на какую-нибудь спальную окраину. Он поражается этим восковым, усталым, отрешенным лицам в вагонах метро, выходит на отдаленной станции, попадает в урбанистический муравейник, засыпает в одном из тысяч похожих друг на друга домов и думает: «Ну, что, что?! Что они нашли в этом ужасном городе? Зачем едут? Чем очарованы?» Засыпает. И, может быть, никогда не узнает ответа на этот вопрос.

Каждому ли открывается Москва? Каждый ли может ее открыть? Аглае повезло. Или нет. Москва показала свое сердце, а потом отвернулась. Живи теперь с этим на краю земли и помни свет окон тихих улочек, кольцо бульваров, надень, примерь на палец — как будто обвенчаны.

Или не в городе дело, а во времени. Юность — казалось тогда — бесконечная, полная солнца, словно созревшее яблоко, надкуси — и брызнет сок. Все были друг другу родными, а за каждым поворотом ждали подвиги. Перевернуть мир, сочинить гениальное стихотворение, встретить любовь на всю жизнь. Они слышали в городском шуме свою волшебную флейту и знали, куда идти. Переулки Замоскворечья, Старый Арбат, Тверской бульвар, и каждый камушек на тротуаре пропитан счастьем и свободой. Не нужно денег, карьеры, всей этой мишуры. Они и так были безумно богаты и щедры — в их распоряжении была вся Вселенная, кусочком больше, кусочком меньше — неважно.

Город спрятан за паутиной, за мороком, но она все так же светла, Москва.

— Где я?.. Где я?! На Новослободке! А вот где вы, скажи мне, где вы? — молодой парень кричал в мобильный на всю улицу, не обращая ни на кого внимания. — Почему вы не пришли? Почему вы бросили меня? Мы же договаривались! Почему я один должен был их е...ошить?? Один! Где! Вы! Были! — Аглая испуганно взгляделась в его лицо, ожидая обнаружить там кровь, но под светом фонарей на его щеках блестели только слезы. Он уходил дальше и дальше, но она слышала его голос, полный отчаяния и боли.

— Мама, почему дядя плачет? — маленький мальчик, идущий за руку с матерью, впереди. Она не услышала, что сказала женщина, но знала ответ.

Потому что его предали.

— Здравствуйте! Чем могу?

Она рассматривала его — лет тридцать пять на вид, почти ее ровесник. Темные волосы до плеч, симпатичный, с открытой улыбкой и сияющими глазами. И длинными ресницами. Просто Бегбедер какой-то.

— Присаживайтесь, пожалуйста, — обычный кабинет, бежевые стены, на которых пара модных картин-абстракций и дипломы в рамках. Не любит она такие места, чувствует себя лишней.

— Я хочу поговорить с вами о деле Егора.

— Вы его... невеста? — у Бегбедера внимательный, даже цепкий взгляд.

— Нет, я его друг, подруга, товарищ, как угодно. Я знаю, что он хороший, порядочный, честный человек и он должен быть на свободе.

— Понимаю. Но вы тоже поймите меня — это судебная система, она работает определенным образом. Мы не можем добиться результата без соблюдения определенных процедур, предусмотренных законодательством. В рамках судопроизводства я делаю все возможное.

— Ему все время продлевают срок содержания под стражей...

— Обвинение пытается установить его связи с группой активистов, которые обвиняются по такой же статье. Это серьезно.

— Ему правда могут дать пять лет?

— Могут, но я обещаю сделать все зависящее от меня, чтобы этого не случилось. Не нужно думать, что нам, адвокатам, нужны только деньги. Мне не чуждо чувство справедливости. И для меня тоже важна победа в этом деле.

— Я принесла вам гонорар.

— Это к секретарю. Она вам и чек даст. У нас все честно, по-белому.

Слова застряли где-то в горле. Шла — собиралась что-то доказывать, убеждать. А ничего не смыслит в этих делах.

— Мы все очень на вас надеемся. Не подведите. Егора должны оправдать.

— Это моя работа.

На крыльце курила тонкую, изящную сигарету женщина в черном костюме. Бледная, с волосами цвета воронова крыла, она производила впечатление элегантной ведьмы, забредшей проконсультироваться насчет продаж душ. Дама изучающе посмотрела на Аглаю и вдруг спросила:

— А вы не от Хланевича? — стряхнула пепел. — От него? Зря вы с ним связались, проиграл он последние пару дел по двести восемьдесят второй, сидят ребята.

Небрежным жестом вытащила из кармана пиджака визитку.

— Звоните, у меня есть опыт в подобных делах.

Аглая кивнула. Спустилась по ступенькам, наконец вдохнула свежий воздух. Куда идти? Куда глаза глядят?

Эта черная холеная женщина только подкрепила возникшие сомнения. Адвокат показался странным типом, ненадежным. Самовлюбленный красавчик. Почему его порекомендовали? Завалит дело, и останется Егор сидеть на веки вечные. Пыль, пущенная в глаза. Она уже слышала истории, как адвокаты брали деньги и исчезали, как ничего не предпринимали и подзащитные отправлялись в тюрьму.

Снег повсюду был совсем мерзлый, слежавшийся, зима не баловала. Во дворе повис уже знакомый запах казенного варева, что томился на кухне Бутырской тюрьмы, сновала лаяли собаки. Вечно эти собаки, каралят. Следят. Как бы чего не вышло, да, Аглая?

Потом вдруг распогодилось: легкая оттепель, сквозь рваный ватник зимы — беззастенчивый, нежно-голубой весенний ситец. И даже медная пуговица солнца явилась — оказывается, ее кто-то там все же чистит, за облаками. И ветер принес будто бы мартовские вести. Но была зима, и всему этому не стоило верить, Аглая только крепче завязала шарф.

— А оне, думаешь, откуда? — Семеновна ткнула пальцем в Тимофеевну. — Из вертухаев. Муж ейный эков всю жизнь охранял, пока инфаркт не отхватил, там же. Жилплощадь им специально давали, чтобы, значит, поближе к работе.

— А вы?

— А что я? Я наоборот, моя милая. Моя семья от таких вот настрадалась. Выселили нас, богатеев, все хозяйство поразорили. Но ничего, мы люди крепкие, оклемались.

— Это в сталинские годы?

— Сталин, Сталин, кабы еще понимала что. Не жила ты тогда, не врубисся. — Она вдруг замолчала и стала рассматривать свои руки, сухие, в синих венах. — Не понять вам вообще ничего. — Вдруг встала и молча ушла.

Беата была так же красива, как раньше. Даже еще красивей. Уверенная в себе, стильная, молодая женщина. Уже не подросток-эльф, от которого во все стороны летели искры, а элегантная, сдержанная фея, излучающая спокойное сияние. Как ей можно было не завидовать — такой? Невольно хотелось скрыться от безжалостного зрачка веб-камеры.

— Как ты, Аглая? Как обстоят дела? Деньги я обязательно пришлю, ты не переживай. Даже не думай, это не проблема. Адвокат хороший?

— Говорят, хороший.

— Все равно тревожно, да? Господи, как он в это влез! Но мы вытащим его, правда?

— Конечно.

— Ты все там же — в универе? Философия? Кандидатскую защитила, наверное?

— Защитила.

— Замуж не вышла?

— Не вышла.

— Значит, еще не время. А я работаю сейчас в дизайнерском бюро. В очень крутом, но неважно... Муж юрист, дети в школу ходят. Здесь рано дети в школу идут, и она не такая, как у нас. Все попроще, более friendly, что ли. Вот так и живем. — Она замолчала и стала смотреть куда-то в сторону. — Как же его угораздило? Хотя он всегда был таким — бесстрашным, дерзким и... наивным. И я в нем это очень любила. Такое редко встретишь. Только это не для нормальной жизни. Так сложно жить. Нужна стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Я должна знать, что у моих детей все будет хорошо. И хлеб, и дом. — Снова повисла пауза. — Ужасно звучит. Цинично — как будто я бюргерша или мещанка. Я ведь такой не была? Или была? Стало казаться в последние годы, что люди не меняются. Они остаются такими же. Значит, была. Поэтому и уехала. Я иногда думаю, как повернулась жизнь, если бы я осталась. Моя, Егора...

Хотя у меня все удачно сложилось. Муж, дети. Здоровые, умные, веселые.

А такое чувство, что чего-то не хватает. Будто что-то важное упущено. Какая-то высокая мечта? Но я даже не могу объяснить ее словами. Мне говорят: у тебя все есть, что тебе еще надо? Вон там людей убивают, там им есть нечего. Мол, устроилась. Но мне плохо от того, что убивают. Мне плохо из-за того, что все наперекосяк в этом мире. И ты ничего не можешь исправить. Ну, разве теорией малых дел.

Мне казалось, мы созданы для чего-то большего. Не для этого — дом-работа-супермаркет-торговый центр-музей-кинотеатр, что там еще.

Люди бросают свои обычные жизни, куда-то уезжают. Я мужу тоже говорю: «Давай оставим все, уедем в Индию — медитировать, путешествовать». А он только посмеялся: «Это — ты — все оставишь?» А ведь и правда — не выход. Как будто обратная сторона того, что здесь.

А может быть, я просто скучаю по юности. По той себе. Ты стоишь на палубе жизни, ветер в лицо и ты не знаешь, что будет дальше, за горизонтом. Ловишь соленые брызги, и внутри предчувствие чего-то большего, чудесного. Что будет только у тебя. Живешь предощущением чуда, а потом — пониманием, что его не будет. Что все уже произошло.

У нас ведь не было ничего. Ни жилья, ни денег, одни надежды. А счастье было. Настоящее. И это не вернется никогда... — Она смахнула слезы.

— Ему очень плохо? Скажи мне честно! Это же русская тюрьма! Его бьют? Пытают?

— Все не так страшно.

— Может, мне приехать? — она спросила так, что ответ был ясен.

И Аглая ответила, как от нее ожидалось:

— Нет, не беспокойся. Все устроится.

— Баба Шура... баба Шура умерла.

Семеновна переменилась в лице.

— Что несешь? Как умерла? — она кинулась вверх по лестнице.

— Дура ты, девка, дура! И где вас, таких дур, делают! — Она кинулась к телефону, — «Скорая»? Женщина без сознания, дыхание слабое, пульс есть. Семьдесят два года. Адрес?

Аглая подошла к кровати, взяла бабу Шуру за руку. Так и сидела, пока не приехали врачи.

В дверь позвонили. На пороге стояла женщина лет сорока в сером норковом полубухе.

— Добрый день! Я племянница Александры Тимофеевны, она вам, наверное, обо мне говорила? Клара Викторовна.

— Здравствуйте! А что вы хотите? Баба Шура в больнице, не скоро ее, наверное, выпишут.

— Вот об этом я и хотела поговорить. Разрешите войду? — она протиснулась в коридор. Потом прошла в зал. — Ну-у-у, как все запущено, не ожидала. Что ж вы, милочка, за квартирой не следите? Пыль, грязь развели, ремонт не сделан?

— Я только снимаю комнату, — от неожиданности Аглая залилась краской.

— У старого, больного человека. Могли бы и помочь.

— Я помогала. Но ведь вы ее родственница, а я вас здесь не видела ни разу.

— Нуу, милая моя, я же работаю с утра до вечера, мне некогда, живу далеко, а в Москве какие расстояния. Сказали тоже. А вообще я вас вот о чем попрошу: соберите свои вещи и, будьте добры, покиньте квартиру в течение нескольких дней. Да, трех, думаю, будет достаточно.

— Почему же?

— Потому что вы тут жить больше не будете. И хотя деньги, которые вы платите за комнату, не лишние, но благоразумнее вам отсюда уехать.

— Подождите, но комнату я снимаю не у вас, а у бабы Шуры. Вас я не знаю, вы даже документы не показали. Вдруг вы аферистка какая-нибудь?

— Ну-у-у, это уже оскорбления пошли. Вот, вот моя фотография, — она ткнула пальцем с длинным кривым ногтем в буфет, где действительно стояла рамочка с маленьким фото. — И вообще, как не стыдно. Не понимаю Александру Тимофеевну, как она

могла... — но фразу Клара Викторовна не успела закончить, в прихожей хлопнула дверь, и вошла баба Маня.

— Это что у нас тут?

— Здравствуйте, Марья Семенна! А мы как раз договариваемся с девушкой о том, когда она съедет.

— В смысле «съедет»? — Семеновна уперла руки в боки, и ничего хорошего это не предвещало.

— Ну как же, тетя в больнице, а тут посторонние, мало ли? Сами подумайте!

— Ты, это, девку не трогай. Девку будешь обижать, я тебе все волоса повыдергаю. И ноги поломаю, если настроение будет. — Она глядела своим невинным незабудочным взглядом, от которого становилось не по себе.

— Да никого я не трогаю. Но как я могу ее оставить, вдруг что-нибудь пропадет. Ценное. Я же потом виновата буду.

— Девка пусть живет. Шура здесь хозяйка. Вернется и разберется. А ты здесь никто.

— Но позвольте! Я же наследница! Это моя квартира. В будущем. И не таком уж далеком, между прочим. При всем уважении к Александре Тимофеевне, она не вечна. Да еще в таком состоянии. И вообще — кто вам дал право разговаривать со мной в таком тоне?

— А зачем мне кто-то давать будет? Как хочу, так и разговариваю. А ты в задницу пошла. И быстро. Тебе говорю, корова. Что глазами хлопаешь, русский плохо учила? Пришла, блин, барыня, порядки наводить. Да хренушки тебе, а не квартира.

Лицо Викторовны, красивое, холеное, аккуратно накрашенное с четкой линией губ, вдруг скривилось:

— Слушай, грывза старая, что бы ты там ни верещала, квартира моя будет. По суду, там, или как. А ты сама катись в одно место.

— Блин, русский не учила, старших уважать не училась. Бирюлево отдыхает. На выход.

— Я уйду, я все это выслушивать не намерена. Но когда вернусь — мы еще посмотрим, чья возьмет!

Похожая на пыхающий самовар, племянница удалилась. Семеновна не поленилась, заперла за ней дверь. Села на стул, подправила белый платочек, застегнула синюю перламутровую пуговку, сложила руки на коленях. Обыкновенная старушка. Такая варит борщи, жарит котлетки, вяжет внукам носочки. Никогда не говорит бранных слов, читает на ночь ребятишкам сказки. И голубой язычок пламени, как будто из рекламы Газпрома, никогда не пляшет в ее глазах. Хотела бы Аглая на это посмотреть.

— Девка, ты вот что. Ты ее не пускай сюда. Ни в коем случае. Шурка добрая, отдаст ей, конечно, квартиру, корове этой. А она ведь никогда, ничего. Шурка больная всю жизнь, ни помощи не видывала, ни заботы. Родня называется. Родню такую в гробу видала. Помереть не успела, уже слетаются. Там брат у этой еще. Перегрызутся. Вот такой паноптикум уродов. Ладно, я к Шурке в больницу сегодня, супу ей отнесу. Выхожу старую курицу, дай Бог. Назло этим. Ты тут за порядком следи. Ну, поняла меня, да? Если че, зови. Баба Маня в обиду не даст.

Она встала, похлопала Аглаю по плечу и ушла.

На экране телефона высветился номер Кирилла. Зачем звонит? Позлорадствовать? Она не хотела отвечать. Но он позвонил потом еще и еще.

«Аглая, возьми трубу. Дело есть».

Ее так и подмывало сказать, что никаких дел с ним у нее быть не может.

«Аглая, это важно».

— Слушаю, что случилось? — она старалась говорить как можно безразличнее.

— Мне нужно с тобой увидеться. Сегодня. Я сейчас с работы еду. Недалеко от тебя.

Было темно, снег летел огромными хлопьями, Аглая пыталась разглядеть машину Кирилла, но все стоящие во дворе автомобили были тихи и безмолвны. Она выскочила на минуту — поговорить и попрощаться — и уже начала замерзать. Потом из арки показался черный джип, свет от фар прямо в глаза. Остановился, посигналил, она подошла. Кирилл выбрался из машины и сразу попал в сугроб.

— Черт, пробки будут, не доеду до дома. Снег, блин, гребаная страна. Все не как у людей. На Бали надо линять или в Таиланд. — Он был в легком пальто и таких же легких брюках.

— Линяй, чего же ты?

— А деньги-то кто будет зарабатывать? Пушкин? — он пытался очистить снег с ботинок, притаптывая, — Пушкин в долгах всю жизнь прожил, не сумел даже состояния сколотить. Поэт! Все, все в этой стране не так!

— Ближе к делу.

— Я понял. Ты меня не любишь. По каким-то там своим соображениям и основаниям. Ты решила, что я в чем-то виноват, что я подлец.

Это правда — я должен Егору. А долги надо отдавать, — Кирилл залез в карман пальто и достал конверт. — Вот тут — деньги. Я знаю, себе ты не возьмешь, передай Егору. На адвоката или еще на что. Передашь? — Он сунул ей, растерявшейся, конверт в руки. — Все, давай. Мне надо ехать. Пробки эти еще, хрен доберешься.

— Подожди, Кирилл, я же не из-за денег тогда...

— А я из-за денег. Я больше ничего не могу сделать, понимаешь? Пожалеть? На свидание сходить? Свечку в храме поставить? Забыть и то не могу! Пусть выгребается. Бог вам в помощь. Если он есть.

Мякнула жалобно сигнализация, Кирилл сел в машину. Она постучала ему в стекло:

— Подожди. Спасибо тебе.

Он махнул рукой, завел машину и уехал.

Февраль — достать чернил и плакать. Или просто, сжав зубы, дотянуть до весны. Миновали морозы, под ногами снежная каша, погода не может определиться, закидывает то снегом, то дождем. Аглая шла по Лесной, обходя лужи, и вдруг увидела, как на соседней улице выгуливают большого хряка. Натурального. Мужчина в шляпе и пальто меланхолично вел животное на шлейке. Аглая даже остановилась, чтобы убедиться, что он ей не привиделся. Мда. «И как это с вами произошло?» — «Ну как-как... Взяли мини-пига, отвалили кучу денег, был он такой хорошенький, маленький, славный поначалу, только все рос, рос и рос... и что было делать... мы его уже полюбили, и он к нам привык, не выбрасывать же? Он в соседней комнате спит и так мило храпит...» Хряк и его хозяин скрылись из поля зрения. А может, он вообще ему жизнь спас? От волков отбил? Или это память о дорогом человеке. Сотня причин есть на то, чтобы в Москве держать дома свинью и водить по улицам. Да может, они вообще из цирка! Из уголка дедушки Дурова.

Похоже, мы тут все из этого уголка.

— Знаешь, у меня была жуткая семья, авторитарная мать — и у меня есть ее замашки, я себе не льщу. Пьющий отец, они постоянно ругались, доходило до драк, а я смотрела на это и думала только об одном. Да, сейчас от меня ничего не зависит, но потом у меня будет такая семья, какую я захочу. Без унижений, без скандалов, без насилия. Где все друг другу друзья.

И вот эта мечта — она меня очень поддерживала. Когда я лежала в темной комнате, а снаружи табуретки летали и отборный мат. Или когда отца в подъезде подберешь пьяного и домой пытаешься тащить. И вот появилась возможность, я ушла от них, стала жить самостоятельно. И когда мы с Петей решили пожениться, я ему сказала: никакого ора в доме, ремней, шлепков. Только иногда бывает — слышу, как люди на повышенных тонах разговаривают, и чувствую себя девочкой в той комнате, с головой под одеялом...

— А ты... ты могла бы усыновить ребенка?

— А я усыновила. Удочерила, точнее. Аня — она ведь из детдома.

— Правда? Не похоже.

— А что, они какие-то не такие должны быть? — Ася усмехнулась. — Она маленькая была, полтора года. Мы просто в детский дом поехали, в Тверь. Какая-то благотворительная акция, собрали подгузники, канцелярку, шампуни, конфеты. И там я ее увидела. Документы, справки, конечно, бюрократия, все такое — но меня этим не проймешь, я сама всех этих теток загрызу. Да, диагноз еще... Но я ее забрала. Нас очень Петькина бабушка поддержала. Оставила эту квартиру, уехала жить на дачу. Говорит, все подружки померли, скучно тут. А там птицы поют, воздух. Юмористка. Только... не могу Ане сказать, что она не родная. Ну как — моя она, родная, наша. Как и все остальные. Поэтому ты, пожалуйста, никому. Хочешь поддержать? — Ася кивнула на Маришку.

Подруги выходят замуж, рожают детей, и вот ты приходишь к ним в гости — невежливо не прийти, приносишь какие-то подарки, гладишь малышку по мягким макушкам, вслушиваешься в лепет, рассказываешь сказки — берешь в руки первую попавшуюся игрушку, какого-нибудь лохматого мишку, топ-топ, мишка по лесу гуляет и тут зайчика встречает, изо всех сил стараешься выглядеть естественно, чтобы никто не заметил твою боль. И когда кажется, что все получилось, он всегда последует, этот вопрос: ну а ты когда же? Но не можешь ответить: «Никогда» — и просто отшучиваешься. А потом ползешь домой и знаешь, завтра это тоже повторится и послезавтра. Вопросы, ожидания, надежды. Нет, ты понимаешь, что большинству по-настоящему нет никакого дела до твоих детей, которых никогда не будет. Но не можешь избавиться от этого гнета. И однажды придумываешь, что все это — ошибка врача. Надо только подождать, а там сложится. И как-то становится легче. Меньше задевает. Меня это не касается — и никаких эмоций. Не про меня...

Преподаватель вуза, кандидатская, докторская, статьи, гранты, но это никому не интересно, докажи, что ты человек, что имеешь право — роди! — иначе ты никто и ничто. Но ведь и сама она всегда хотела семью, детей. И это как будто издевка. Хотела, а че не можешь?

Количество одиноких женщин в России могло бы составить население целого города. Броский заголовок. Город одиноких женщин, и вот это окошечко в типичной многоэтажке, желтое с темным силуэтом — это же ты, Аглая.

Нет, все мужики не были козлами. Это с ней что-то было не так. Может быть, все не так — обычная внешность, лишний вес, медлительность, одержимость работой. И вишенка на торт — невозможность иметь детей. Она разглядывала свое отражение в зеркале.

Она была той самой ботаничкой, старой девой из студенческих анекдотов: в очках, полноватая, равнодушная к одежде и косметике, погруженная в мир идей и в меньшей степени — мир людей. Она с удовольствием написала диссертацию, готовилась к докторской. За ее спиной стояли титаны мысли — от Платона и Аристотеля до...

Жижека? Хотя не был ли он жидковат для титана? Да, мужчины делали философию, но их монополии оставалось недолго. Скоро все изменится. Скоро? Когда-нибудь. И быть одинокой женщиной в России — не замужем, разведенной, без возлюбленного — перестанет считаться неприличным, печатью неведомого изъяна, поводом унижить и посмеяться. Профессионал? Личность? Не может быть. Ты просто недотрахана.

Только чтобы поменялся лексикон, должно поменяться мышление. Работай, Аглая.

Ей вдруг снова захотелось встать за кафедру, оглядеть аудиторию, своих студентов, открыть конспект и начать лекцию. И чтобы по левую руку — тень какого-нибудь великого немца: «Давайте, давайте, фрау Тихонова. „Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimm“». Там, за кафедрой, как нигде, она чувствовала себя на своем месте, как будто была в потоке большой силы. «Женщина не может быть философом», — сказал бы, как всегда, Ильичев. «Женщина может все!» — ответила бы она.

Блестел на солнце влажный асфальт, в лужах отражалось непривычное после хмуры, сизой зимы синее небо. Откуда столько воздуха? Столько дыхания? Снег стремительно таял и уносил все ненужное. И отчаянно хотелось все изменить. Жизнь проходит, когда слушаешь других, когда равняешься на всех, когда думаешь о том, что подумают вокруг. Жизнь проходит, когда ее планируешь, когда вместо того, чтобы делать, ждешь, что сделают за тебя.

А ведь никогда не будет идеального момента для того, чтобы все изменить. Сегодня или никогда.

— Аглая, ты должна вернуться. Нет, ты, конечно, не должна. Ты вольна делать что угодно, ты взрослый человек. Но все-таки. Вот так бросить все, уехать. Как бы жизнь не поломать. Ты всегда такая была...

— Оторванная от реальности?

— Ну не обижайся только. Но надо же как-то жить, устраиваться. Чтобы и карьера, и стаж, и пенсия. Знаешь, как годы летят. И люди не нужны сейчас никому. Не ценят людей. Уехал, исчез — ну и Бог с ним. А я же не вечная, Аглаюшка, и бабушка не вечная. Может, мы обижали тебя или были не правы в чем-то, ты нас прости. Мы не по злобе, мы ведь тебе только хорошего хотели. Старались... Возвращайся, доченька, давай подумаем, как дальше жить. Как там этот мальчик, Егор? Выпустят его? Ты, можешь быть, с ним хочешь остаться?

— Мама, у Егора своя жизнь. Он мне просто друг. Будем ждать решения суда.

— Ну а сколько ждать? Глаша, надо возвращаться в нормальную колею, при любом решении. Он твой друг, он хороший, я все это понимаю. Но, как ты говоришь, у него своя жизнь, у тебя своя.

— Я не в том смысле, не в том, — она ковыряла в зазубрине на столе, зачем-то пытаясь соединить ее с другой такой же, оставленной — чем? — ножом, ножницами, чем-то острым, чем обычно оставляют следы. Бывает, словами.

— А в каком? Меня мучает эта неопределенность. Так нельзя. Я ложусь спать и думаю о тебе, встаю — а что там с тобой? Ты ведь одна в этом городе. Еще и новости каждый день. У вас же криминальная столица, ей-богу! Еще и тюрьма под боком, — она уже начинала переходить к своему любимому тону, не терпящему возражений.

— Я хочу принять одно важное решение, — Аглая не собиралась этого говорить, но сказала.

— Какое? Только не горячись, не горячись, подумай основательно, — она засуетилась, представляя себе что-то несусветное.

— Я хочу, чтобы вы меня поддержали. Нет. Чтобы вы просто поняли меня...

— А почему у тебя нет детей? — Миусский сквер, где они гуляют с Лизой, полон ребятишек, слышна французская, английская, польская речь, маленькие отпрыски живущих поблизости дипломатов и бизнесменов тоже вышли на прогулку со своими нянями и мамами.

— У меня есть ученики. Студенты, — как можно спокойнее отвечает Аглая.

— Как в школе?

— Как в школе.

— И чему ты их учишь?

— Я... Я хотела бы научить их быть свободными, несмотря ни на что.

— Когда я буду взрослой, я буду свободной. Буду делать, что хочу. Но только еще долго ждать. — Лиза прыгает по кем-то нарисованным классикам, на верхнем полу-круглом поле написано «Финеш». А раньше писали «Рай», подсказывает память. — Ты знаешь, у нас будет новый дом? И мы уедем.

— Я буду скучать по тебе.

— Я тоже. — Лиза вдруг подбежала и обхватила ее своими маленькими цепкими руками за шею.

— Ну что ты, зайка! — Аглая прижала ее к себе, на глаза навернулись слезы. — Может быть, у меня будет такая девочка, как ты. Или мальчик. Я бы очень хотела.

«Вчера вечером, 2 апреля 2008 года, с территории СИЗО № 2 „Бутырка“ доносились крики заключенных и звуки ударов металлической посуды, а также на территории изолятора были замечены люди в военной форме.

По словам директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Юрия Калинина, подследственные пытались спровоцировать беспорядки из-за слухов об избияниях арестованных.

Днем сотрудники СИЗО провели плановый обыск подследственных на выявление запрещенных предметов, после чего по изолятору прошли ложные слухи о том, что арестованных избивают.

После этого в нескольких камерах подследственные подняли шум, никаких силовых операций в отношении зачинщиков не проводилось, сейчас на территории СИЗО все спокойно. Пострадавших нет. Сотрудники прокуратуры провели проверку и ничего не выявили, сообщает РИА „Новости“».

Миша совсем не изменился: рыжая борода, бодрая, деловитая походка, модный, ладно сидящий по фигуре костюм, свободные, раскованные движения. Как будто может позволить себе все: сделать, сказать, купить.

Обнял крепко, пощекотал бородой, в нос ударил запах парфюма, свежий, напоминающий весенний дождь.

Они договорились о встрече в кафе рядом с Миусской площадью, здесь только недавно вынесли столики на улицу, раскинули над ними белый шатер, поставили плетеные кресла, разложили пледы.

— Куда-то ты пропала. Искал тебя.

— Я не пропадала. По-моему, это кто-то другой пропал.

— Камень в беззащитного — это каждый может. Кофе будешь? — он сразу подозвал официанта, раскрыл меню.

— Давай.

— Так, нам две чашечки капучино и... и... да, вот бокальчик пива, вот этого, будьте добры.

— Может, адекватнее было бы взять два бокальчика пива? Оба для тебя?

— Как ты плохо обо мне думаешь! Зря! Я почти не пью! Практически! Вот захочу — и этот не буду!

— Захоти, милый.

— Не хочу. Устал. Надо прийти в себя. Город утомляет невероятно. Отвык. Все эти толпы бегут куда-то. Как будто попал на съемки фильма «Хаос и энтропия», — он в нетерпении постучал пухлыми пальцами по столу. Но пиво принесли на удивление быстро.

— Ну, давай, за твоё здоровье. — Он поднял бокал, сделал большой глоток, удовлетворенно хмыкнул, тут же достал сигарету, затянулся. Развалился вальяжно в кресле. Теперь Миша был в своей стихии.

— А я думал, ты уехала уже.

— Ну, как видишь. Что звал-то?

— Хотел узнать, как Егор. Может, нужно чего-нибудь.

— Да нет, кажется, все хорошо.

— Правда? Вот прям ничего не нужно? Ни взятки судье? Ни подкуп вырыть? Ни вертолета? И адвокат оплачен?

— Все хорошо.

— Ты это специально сейчас говоришь, да? Чтобы показать, какая я сволочь. Мол, пока ты там в деревне отдыхал, мы сами с усами.

— Миша, тогда — осенью, ты меня разозлил. Это так. А сейчас многое уже пережило... Я все понимаю, я не сержусь.

— Нет, я должен для него что-то сделать, пойми!

— Акафист закажи.

— Издеваешься?

— Я серьезно. Вон Кирилл сказал, что свечку не может в церкви поставить. А ты можешь. Или нет?

— Свечку... Могу, конечно, свечку, — видно было, что он успокоился, «проблема» была решена, — Ну давай выпьем за освобождение нашего друга! Гарсон, еще бокальчик повторите. Тебе, может, тоже взять? Вина?

— Не надо. Хотя нет. Давай. Я хочу выпить за Егора.

Миша оживился, рассказывал про деревню, и про тамошнюю церковь, и батюшку, про зимние вечера и послушания, Аглая то внимательно слушала, смеялась побасенкам, то отвлекалась.

Камень весны — хрусталь, прозрачный, переливчатый воздух, с бликами солнца и отражениями.

Весенний воздух всегда полон предчувствиями, надеждами, еще не случившимися, но обещанными кем-то чудесами. Щемило сердце от понимания мимолетности этого момента. Отцветшие яблони в Коломенском, белый снег под ногами — вот как все будет. Солнце, набравшее силу и требующее уже другого — не мечтаний, а их исполнения, тяжелой работы, чтобы по осени собрать плоды.

В переулке стояли притихшие синие троллейбусы, словно спящие гигантские прирученные кузнечики, ждали, когда их позовут на прогулку по улицам города. Возьмут под уздцы и потянут по улицам и площадям, будто диковинных зверей. И только кто-то один так и поймет, а все остальные не заметят.

Дети на площади кормили голубей: сизых, белых, коричневых, целую шуршащую стаю. Кидали хлеб и зерна, а потом прибегали совсем малыши, начинали пугать птиц. Шелестели крылья, смеялись ребятишки, кто-то строго делал замечание. Почти рядом, на Лесной и Новослободской, гудели автомобили. Огромный граммофон города задавал ритм. За столом увядали слова.

Официант убрал посуду, принес счет.

— Все, Глаш, не пропадай.

— Ты сам не пропадай.

Они обнялись на прощание, и он пошел к метро. Ясно было, что вечер не кончен, что нужно еще выпить и где-то посидеть, увидаться с друзьями, познакомиться с симпатичной девицей, проснуться неизвестно где и с кем. Кончилась его ссылка, и Великий пост был завершен, и у Миши снова все было впереди в этом большом городе, можно было начинать с чистого листа, до нового витка покаяния.

До конца не было очевидно, кто они друг другу, но она чувствовала, что есть между ними нить, которую не оборвать.

Аглая побрела к себе. Мимо торгового дома с зеркальными витринами, с рекламным щитом итальянской моды во весь фасад, мимо редакции «Огонька», театра «Буфф», станции шиномонтажа. Старушки были во дворе, на своей лавочке, по привычке препирались, беззлобно. Баба Маня пыталась поднять Тимофеевну, но та упиралась.

— Шура, надо расхаживаться, а то быстро в ящик сыграешь.

— А может, и лучше оно — в ящик. Устала я, Маня, устала. Хочется уже на покой.

— Ой, надо же, на покой захотелось! А Маня, значит, одна тут за всех отдувайся. Хороша подруга, — Семеновна тут же встала в позу.

— Мань, ну сил нет, — взмолилась Тимофеевна.

— На солнышке погуляешь, и будут силы. Давай шевели помидорами. Избаловали тебя там в больнице.

— Чем-чем шевелить? Нет у меня никаких помидоров, только огурцы.

— Шурка-Шурка, отстала ты от жизни.

— Да, скоро совсем отстану. Едешь, едешь на поезде, а потом — раз, и твоя станция. Выйду, а вы дальше. Без меня.

Старушки всхлинули. И Аглая впервые увидела, какое мягкое и незащищенное лицо у Семеновны, лицо, по которому текут слезы.

— Спрашивала его: «Егор, а если бы можно было что-то изменить... Ты бы пошел снова туда, на площадь?» И он мне говорит: «Да, мама. И что хуже, я еще пойду, как только выберусь. Они нас не задавят». И не знаешь, что ответить. Будь дома, не высовывайся? Или уж иди до конца за правое дело? Мне подруга говорит: «Вон мой-то, за компьютером сидит, играет, жена жалуется, то да се, детьми не занимается, по хозяйству не помогает, внимания ей не уделяет, а я думаю, счастья своего не понимает, пусть играет. По бабам не ходит, не пьет, политикой не занимается. От греха подальше. Пусть лучше так, чем как твой Егор». А чем лучше? Сердце материнское было бы спокойно, а вот совесть... — она смотрела в глубину чашки, словно в омут. Там плавали бесцветные лепестки когда-то пронзительно-синих васильков. Вера Александровна подняла глаза. Руки безжалостно сжали фарфор.

— Глаша, как думаешь, отпустят его?

Где мы будем через следующие десять лет? Сопьется ли Миша? Хотя у алкоголиков обычно длинная жизнь. Эмигрирует ли Кирилл? Продолжит ли свою борьбу Егор? И что здесь будет дальше?

Кажется, если взглянуть на человеческую жизнь из определенной точки — через десяток-другой лет, то увидишь цепочку событий, со своей логикой, объяснимой и неуомлимой. Неповторимая цепь поступков и последствий, без случайностей и слепого выбора. Мы выбирали так, как только и могли выбрать. И поступали только так, а не иначе.

Но сейчас — эта дорога пока в тумане, и невозможно предсказать все перекрестки и повороты.

Тимофеевна сидела на своей лавочке:

— Вот и весна. Хорошо-то как. Что твой, деточка? Выходит?

Выходит? Если бы знать. Только и слышишь, что все суды куплены, прокуроры продажные, дела заказаны и сфабрикованы. И тут ты со своей наивной верой в справедливость, в правду, в Божью помощь, в конце концов.

— Будем надеяться, завтра суд...

— Завтра? Это во сколько? А я думала попросить... Не знаю... Мне к врачу. Или не идти?

— Я помогу, — Аглая погладила ее по руке.

На качелях качались дети, плакал ребенок в коляске. Старушки как ни в чем не бывало сажали под стенами с колючей проволокой цветы, разводили садики, будто это была обычная городская ограда. Здесь жили, там ждали, когда начнется жизнь. Но были мы здесь свободны? И что для нас была свобода?

Пахло клейкими тополиными листочками, пряно и горько — свежей молодой зеленью, прогревающейся на солнце корой. Мироздание просыпалось от спячки, пульсировало и могучим потоком устремлялись ввысь древесные и травяные соки. Новая жизнь бежала по зеленым венам, рвалась из почек и подземелий наружу.

И если осенью ты понимал, как незащищен перед смертью, то весной — как незащищен перед жизнью.

«А ты вообще где?? — Миша». «Опаздываешь! — Кирилл». «Егора освобождают!!!!!!!!!! — мама Вера». Следом позвонил Хланевич, но Аглая не стала отвечать. Потом.

Сердце колотилось от быстрого шага. Или от волнения. И вдруг в кармане плаща, под рукой, еще раз звякнул мобильник. Замереть, нажать на клавишу.

— Аглая, ты?

— Здравствуй, Егор!